

ТОМБЭ или ШАГ В ПАДЕНИИ

Глава 1. Здравствуйтесь, говорящие балерины!

1.

Свиягин терпеть не мог балет. Балет не как вид искусства – к нему он был равнодушен, – а самих артистов, ту труднообъяснимую категорию людей, стоящих особняком внутри театрального содружества и именуемых так – балет.

По первому взгляду среди цехов, отделов и служб театра никакого такого содружества не было. Каждая из технических групп имела свою задачу, и частенько на сцене можно было услышать ругань осветителей с машинистами или механиков с осветителями. Во время подготовки спектакля также ругались: верховые, радисты, костюмеры и даже безобидные реквизиторы, но ругань российская – штука нефиксированная, спонтанная, идет от причин вековых и драматически общих, а вспыхивает всегда как бы по частному недоразумению и на пустом месте. И не жесткий график, составленный в кабинетах, помогал всем этим службам управляться, а в конце концов та самая характерная черта нашей действительности – дружеские отношения и любовная договоренность.

Наступал момент, когда раздавалось трагическое: «Балет приехал!», и это означало нечто более ужасное, чем все служебные переругивания. На сцену вваливалось, вкатывалось, вносилось, шумя и сметая всё на своем пути, нечто разношерстное и разношерстное, но удивительно одинаковое в массе. Свиягину казалось, что оно всякий раз встречается тут, будто только что очнувшись от коллективной зимней спячки, потягиваясь, неловко стуча, удивленно озираясь, прокашливая горло дежурными остротами и сыпля бесчисленными вопросами. Оно увешивало все станки, осветительные башни и декорации халатами, полотенцами, шерстяными штанами, сумками – и начинало «греться».

За добрый десяток лет, что проработал Свиягин в театре, он привык к бесполезности каких-либо объяснений с артистами балета. В отличие от сопредельных служб, с этим народом нельзя было договориться любовно. С ними нельзя было договориться вообще – и вовсе не по причинам их кастовой замкнутости или высокомерия, – нет. Но существовал между свиягинским миром и миром балетных людей загадочный барьер, уводящий последних, как бы даже помимо их воли, в иное, инопланетное измерение. Они разговаривали на русском языке, но Свиягина всякий раз не покидало ощущение, что на каком-то своем, особенном, тайном русском, имеющим чудовищные смысловые смещения. Нормальная логическая связь между предметом вопроса и ответом тут как бы заведомо отсутствовала. Так Свиягину казалось, что когда он говорит этим людям обычные для прочих смертных вещи, они понимают нечто совсем иное, имеющее другой смысл в их системе понятий. Ему отвечали, но Свиягин видел, что и эти русские слова означали у артистов совсем не то, что у Свиягина. Выходила все время одна и та же глупость вроде стишка из незабвенной «Республики Шкид» – они говорили «бутерброд», а имели в виду какие-то загадочные «цацки-пецки», и языки были непереводимы с одного на другой.

Свиягин знал, что с выходом артистов на сцену направленные фонари будут неизбежно «сбиты», кулисы оторваны от планшета, декорации сдвинуты. Его

предостережения вроде того, что опасно держаться влажными руками за включенную отечественную электроаппаратуру, балерины воспринимали своеобразно – обиженно меняя место разминки, они вновь спешили вцепиться в штативы, стоило Свягину скрыться из виду. Артисты прислонялись к тряпичному заднику с нарисованной каменной кладкой, падали и искренне удивлялись, почему стена их не держит. Мерещилось иногда нашему герою: артистам неведомо ни место, где они находятся, ни то, кто они сами. Хрясь! – отрывала балерина очередную кулису. «Голуба моя! – ревел Свягин. – Кто ж тебя такому научил, а?» – «Я не видела, что держусь за тряпку», – объясняла та. – «Ты меня-то видишь? – вопрошал Свягин устало. – Как я тебе представляюсь, в виде геометрической фигуры или расплывчатого светового пятна?» – «Вижу», – отвечало создание в балетной пачке, обидевшись.

Но и это «вижу» означало нечто совсем иное.

2.

Одним из ранних воспоминаний Свягина было: стоит он в кулисах, горят разноцветные лампы, а по сцене, как бабочки, порхают белоснежные создания под удивительную музыку. Сон ли это был, или на какой-то новогодний утренник приводили его родители?

Но Свягин знал одно точно: все сильные впечатления его детства в дальнейшем получали свое логическое продолжение и развитие. Жизнь впоследствии подражала ярким впечатлениям детства как каким-то своим не случайным и выразительным наметкам. Не на этом ли строятся предсказания? Это бессмысленно исследовать, но в сплетении второстепенных, третьестепенных событий юности – волна, чуть коснувшаяся в детстве, пригнала и прибила его к театру. Это не было влюбленностью, и степень случайности происшедшего не принуждала, не давала повода Свягину вникать в тонкости, в дух и атмосферу артистического мира. И что он знал об артистах балета тогда, впервые переступив театральный порог?

Коснемся тут толпы, пощекочем ее.

Обывательская молва сделала из понятия «балет» некий жупел, расхожий штамп, ряд словесных заготовок «на случай». Если твердолобость военных была мишенью для острот, а начальство служило поводом для изливания желчи, то балет всегда воспринимался толпой как некая мера бездонного разрыва меж окружающим бытом и причудами людских фантазий. В массовом народном сознании балет стал синонимом нереальности, запредельной отстраненности от мира фабрик и кухонь, где балерины – это все что угодно, но только не люди, живущие среди нас. Если в гастрономе на вопрос продавщицы: «вам завесить?», покупатель чеканил: «так точно!», то окружающие тут же узнавали военного, на которого профессия хоть и наложила неизгладимый отпечаток, но оставила человеком их мира, реальным, осязаемым, живущим по соседству. Если на крыше здания два субъекта с портфелями учили опытного кровельщика пользоваться молотком, то все знали, что эти двое – вездесущее начальство, которому не сидится без работы, и что отвечать за всё в итоге будет кровельщик. Но какое место в расхожем сознании занимал балет, если на требования зарвавшегося ближнего товарищи язвительно вопрошали: «А не хочешь ли еще балерину, шампанского и на люстре покачаться?». Даже Достоевский, призывая любить нищих в том роде, что, мол, надо любить настоящих нищих, а не тех, которых изображают нам в балете, – проговаривался невольно, традиционно вынося балетное искусство за черту действительности, не признавая его реализма.

Художник, не признающий за сопредельным искусством реализма! Обыватели, определяющие степень капризности желания: «балерину, шампанского и на люстре покачаться»! Доходило до абсурда. Дальние родственники спрашивали балерину: «Ты кем работаешь?» – «Я танцую», – отвечала балерина. – «Это понятно, что танцуешь. А работаешь-то кем?»

Толпе поверить в балерину с авоськой было так же трудно, как в реальность Америки тех лет или наступления коммунизма. Балерине, как экзотическому животному в зоопарке, оставили место только на сцене и на обертке шоколадки. Балерин среди народа не было. Потому что балерины не разговаривают. Потому что балерин с авоськой не бывает.

...А были репортажные штампы: «О, эти стены, помнящие... О, эта магия неземных, чарующих... О, волшебный призрак Терпсихоры, витающий, о!»

Свиягин в те годы был романтиком. Свиягин безоговорочно верил и в то, что «стены помнят», и в «дух Терпсихоры, витающий, о!», и даже в каплю утренней росы, которой питается балерина! Русским народным сплетням об артистических оргиях с битьем посуды он не верил потому, что не хотел верить. Романтику и максималисту, отвергающему «быдло» и «кухню», самому нужно было божество, чтобы противопоставить его бездуховно-прагматичному миру, и растить его в своем сознании, и дорожить им. Если бы Свиягина спросили, что такое для него балерина, он бы ответил честно: да, божество таинственное, незнаемое, существо не от мира сего, волнующая загадка, не смею заговорить. Мало того, что женщина, ангелоподобная красавица, еще и танцует, волшебница, фея!

В первый день очутившись в стенах помнящих, с духом Терпсихоры витающим, Свиягин ошалело смотрел по сторонам, как деревенский пастух, неожиданно попавший на ВДНХ. Шли последние приготовления к спектаклю. Жужжали штанкетные лебедки, голоса в динамиках перебивали друг друга («...семнадцатый на третьем вниз, лимонный убери, откуда вылез красный, Сан-Саньч, подойдите к пульта помрежа, включи всю группу, супер на марку, оставь это положение, запишем...»), сверху опускались полотнища кулис, гасли и зажигались фонари.

Свиягин не смел выйти на сцену. Вдруг мимо него поплыли белоснежные создания, в хрустящих балетных пачках, длинноногие, стройные! Не из телевизора! Не в ста метрах от балкона, не в бинокле! На головокружительно близком расстоянии!

«Вот он, дух театра, – восхищенно думал Свиягин. – Проекторы, механизмы. Выходят балерины. Всё приведено к внутреннему согласию, и всё готово к тому, чтобы родилось волшебство».

И волшебство началось. И загремела музыка, и разошелся занавес, и вспыхнул весь свет, и поплыли по сцене воздушные создания. Гроном аплодисментов встретил зал выход принца и феи, легендарных звезд, живых и тоже восхитительно подлинных, после знакомых фотографий и телефрагментов – продолжающих завораживать непредсказуемой новизной, творящейся прямо на глазах, здесь, и сию минуту, и великой!

В одну из минут в кулисы, где стоял Свиягин, вбежал принц, закончивший свою вариацию. Свиягин пошевелиться не смел. Принц упал на четвереньки, мокрый, тяжело дышащий. Это был слишком резкий контраст с тем образом, в котором принц только что находился, но Свиягин был уже человек немного театральный. Он вдруг подумал о том, что, мол, вот они, муки творчества, «невидимые миру слезы», и как нелегок путь к созданию подлинного образа и т. д.

Принцу поднесли стакан воды к губам, он отхлебнул, но не проглотил, а, прополоскав горло, выплюнул на планшет. Затем, не вставая с четверенек, развернулся лицом к сцене и, наблюдая за вариацией партнерши, прошипел ей сквозь зубы:

– Куда тебя понесло, сучка?!

3.

Это был шок. Где те слова, которые передали бы состояние нашего героя? Офонарел, опупел? «Замер и ополоумел»? Свягина как парализовало. Назвать фею – сучкой? «Помните, что скоро вы войдете в храм искусства, – наставляли молодых технических специалистов педагоги. – Чтите его и уважайте его высокие законы». – «Арс лонго, вита бревис!» – хором клялись студенты Театрально-технического. И это означало: «Жизнь коротка, искусство – вечно».

Фея – сучка? Свягин был романтик и мечтатель. Когда первое оцепенение прошло, он стал думать о том, как бы такое нелепое положение исправить. Как юноша мечтательный, он стоял столбом и наивно выдумывал варианты, при которых бы смог помочь фее, дать ей понять, что она – фея, а вовсе никакая не сучка. Что пусть партнер и называет ее сучкой, но для почитателей ее таланта, к которым Свягин с этого вечера себя уже безоговорочно относил, она – божественная фея, гениальная артистка, чудесный человек. Свягин был юноша впечатлительный и, чем больше он думал, тем больше фантазия сковывала его понимание вещей. Он твердо решил идти брать у феи автограф. Он был уверен, что артистам раздавать свои автографы приятно в любом случае. «Хотя бы покажу ей, что сегодня у нее на одного почитателя стало больше».

После спектакля Свягин, вооружившись подобранной на пульте режиссера программкой, неловко затоптался у феиной гримерки. Он уже придумал слова восхищения, которые в крайнем случае смог бы даже – чем черт не шутит! – произнести.

– Там какой-то молодой человек вас ждет, – сказала гримерша фее, заметив Свягина (Свягин похолодел). – За автографом, наверное, пришел.

– Ну, ладно, – смилостивилась фея. – Принеси, Людочка, сюда его программку. Надо подписать ее этому мудаку, а то не отвяжется!

Дома, в тот же день своей «премьеры», уже ближе к полуночи, Свягин нервно записывал в дневник:

«Волшебный мир разрушен. На свете нет ничего святого. Вокруг пустота и одиночество. На кухне варится картошка, в округе чутко спит быдло, чтобы не проспать завтра на работу! А прекрасная фея сидит в гримерной и снимает с лица толстый (?) слой грима кремом «Театральный».

Свягин подумал, злобно дописал после «крема театрального»: «Цена – 27 копеек», но быстро зачеркнул, так как это показалось ему уж чересчур циничным. Он все-таки был романтик.

А годков ему было – шестнадцать.

4.

Возраста не существует, есть только драгоценность опыта. Но времена первых опытов, принимаемых за абсолютное знание, юношеская уверенность в исключительности своего прихода прошли для нашего героя. Окунувшись в реальность, Свягин быстро и с жадностью нового знания переоценивал всё то, чему учили лукавые педагоги. Теперь он смотрел трезво. Теперь он смотрел изнутри.

Как всякий поэт, он был немного самодур и на веру принимал теперь лишь собственные чувства и плоды собственного, более зрелого, опыта. Он не боялся спорить с Толстым и указывать друзьям на стилистические огрехи Достоевского. Он был наглец, он даже переписал на свой лад корявую строчку Лермонтова «...мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники». И что уж тогда говорить о балете: казалось нашему герою, что на выигрышные, ударные музыкальные моменты Прокофьева или Глазунова – у балетмейстеров приходились не соответствующие силе музыки хореографические «сопли». И это было не развязностью свиягинского восприятия и не манией величия, а вот чем это было: театральные деятели, люди, составляющие дух и плоть театра, обремененные бронетанковостью наград и власти, рассуждая о чувствах бесхитростного юноши Ромео и уча одухотворенности лазанья на Джульеттин балкон, сами в этой живой жизни на балконы к Джульеттам не лазили.

А Свиягина интересовало только живое. Ему всегда больше нравился процесс репетиции, нежели готовый, как воск в форму отлитый и застывший, спектакль. На репетициях педагоги нервничали, кричали на артистов, но там за некоторой корявостью исполнения еще угадывалась личность каждого, раскрепощенная возможностью неоднократно повторить попытку. Свиягин шутил, что Бог разнообразит, а дьявол унифицирует, – целью же педагогов было: избавиться от индивидуальности, шаг за шагом отточить работу до готового масштабного изделия, монолитного спектакля, этих стерилизованных консервов с длительным сроком употребления.

Отдельной статьёй были мужчины-артисты. Умея занять на сцене героические, мужественные, «мужские» позы, они в повседневной жизни в подавляющем большинстве оборачивались какими-то недо-мужчинами, недо-героями. Неестественно вытянутые, с перекачанными, галифеобразными ногами, они капризничали под стать балеринам, мало уступая им в женственности. Степень близости к настоящему мужскому образу, как правило, находилась в обратной зависимости от таланта.

Ребенок исполняет волю родителей, при всяком удобном случае не упуская нащупывать степень и пути своей свободы, в борьбе с чем и заключается родительское воспитание. Но по законам природы взрослый мужчина, послушно и в точности исполняющий волю другого мужчины – нонсенс. Есть что-то неистребимо гомосексуальное в армейских взаимоотношениях, в этом исполнении прихотей и капризов старшего по званию – младшим. Что-то неистребимо женственное и в то же время послушно-детское было заложено в каждом из артистов-мужчин уже самим характером его занятий балетом. Ибо повторять безоговорочно те движения, которые навязывает тебе педагог, не проявляя при этом своей воли и своего протеста, не противодействуя более сильному, – есть качество не мужское. Для мужчины естественен уход из-под опеки и самоутверждение в схватке с сильным противником. Но если твой начальник и хозяин тебе хоть чуточку не враг, не камень на шее и не помеха твоей свободе и личному выбору, а, наоборот, ты просишь: позанимайтесь со мной, подрессируйте меня еще...

Порой восхитительным казалось Свиягину однообразие внешних балетных совершенств: все танцовщицы как на подбор, без сучка и задоринки, – и умрите, ценители женской красоты, придите в смятение от невозможности выбора! Умрите, восточные шейхи – от невозможности иметь такой огромный гарем, где собрано всё самое стройное и длинноногое! Бывали балерины и пожиже, да и те, переодевшись в «гражданское», могли, казалось, дать сто очков вперед своим

земным соплеменницам по части легкости походки, вразумительности и чистоты жеста, змеиной завораживающей гибкости и графичности линий, – по всем тем признакам, что именуются женственностью. «Тебе идет любой наряд»!

Вне сцены балетные люди узнавались обычно по бросающейся в глаза особой выправке – ровно поставленному корпусу с развернутой грудью и той, упомянутой уже, особой походке с вытягиванием носка при ходьбе и легким выворотом стопы при опоре. Несмотря на то, что у балерин такое движение было механическим, приобретенным профессионально, в нем тем не менее – совершенно невольно, счастливо для них – виделась как будто некая беззащитная трогательность в сочетании с энергией сжатой пружины, дремлющей в теле. Любой бы женщине шла такая походка. И почти у всех балерин был открытый лоб и длинные волосы, но – решительно убранные, отведенные, зачесанные назад, прочь, со лба, за уши, за темя, – убранные будто в подсознательном желании не мешать открытости лица (сказалась ли в этом сценическая привычка, перешедшая в жизнь?).

Но вот что удивляло. Узнавание это происходило часто не от стандарта форм и не от в кровь вошедшей пластической унификации жестов. Дело было в неуловимом присутствии чего-то другого, уже из области внутреннего, – психологии, сумевшей бы объяснить и все прочие похожести. Ведь даже при самой робкой или ленивой попытке узнать балетных людей поближе – всегда поражало одно их яркое свойство: эта всеобщая, тотальная, не выжигаемая никаким каленым железом необычных положений и ситуаций – их похожесть и внутренняя. Будь в стране одно балетное училище на всех, и один педагог их всех учи, они бы и тогда не были так серийно идентичны.

Эта внутренняя поголовная похожесть не была простым отсутствием интеллекта или «безличьем», которое «сложнее лица». Шкала ценностей балетного мира, их образ мысли, их реакция на окружающее – оказывались закрытыми для обычного человеческого понимания и оценки потому, что были связаны с этой профессией как бы на молекулярном уровне, впрямую от нее зависели. Засылать в этот мир Штирлицев было делом пустым. Свягин уяснил, что для понимания балетной психологии нужно было как минимум танцевать самому. Выходила какая-то чертовщина вроде того, как: наши, немцы – и балетные, умные, глупые – и балетные, люди, звери, птицы, флора, фауна, идеи, события, «магистральные пути истории» – и балетные. Они с завидным постоянством находились в стороне от *всего*, удивляя своей вечной неизменностью. Они не вмешивались в земные дела. Их мир был самодостаточен, замкнут на себя, внутренне отлажен с автономностью подводной лодки, со своими богами, героями, – и любой наш Гастелло им был нипочем.

Кто автор неевклидовой геометрии? Не Евклид. Их можно было оценивать только так, от противного: что они – не.

Герой Набокова, полупомешанный шахматист, созерцая на прогулке телеграфный столб и стоящую неподалеку березу, машинально разыгрывал в уме комбинацию: если столб это конь, а береза – ферзь, то столбом можно взять березу. Не так ли артисты балета воспринимали и окружающее? И где они существовали всерьез – на сцене ли жили, и не в жизни ли играли? Всё смешалось в доме Облонских. Им было трудно доверять: танцовщица из «бывалых» блестяще изображала стыдливость и смущение тепличной девицы (не изображала – была стыдлива и смущена, внутренне перестроив всю свою сущность для этой роли), а

юное создание, только из хореографического училища – матерую, развязную распутницу («Откуда в ней столько грязи?»).

Ни у спортсменов, ни у циркачей, не говоря уже о военных или сталеварах, профессия не отбирала так подчистую все силы, не подчиняла себе так тотально весь внутренний мир человека, чтобы не оставить ему всегда еще какой-нибудь личностный уголок. Как будто умение совершенствоваться в танце, одухотворяя его, – постепенно, с самого детства, заменяло этим существам органы чувств. И бесчувствие было платой за мастерство.

Так, Свягина поражало отсутствие у артистов осязания в той полной мере, что присуща обычным людям. «Краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами» – для них не существовало. Беседуя со Свягиным на сцене, перед выходом, балерина могла решительно обхватить его за шею, используя попутно вместо станка и продолжая выбрасывать ноги в батмане. Объятия тут ничего не значили. Вся эта балетная масса кишела, крутилась и вращалась, поддерживая друг друга за все части тела, находясь в объятиях друг друга, с утра до вечера. Мужчина вращал женщину за талию с той же долей страсти, с какой женщина на кухне вращает ручку мясорубки, накручивая фарш. Логическая цепочка была убийственно-железной: ручку мясорубки нужно вращать, в руках партнера – вращаться, и это были действия одного порядка, которые нужно было не перепутать.

Артисты были полноценно зрячими, ориентируясь в пределах сцены, «держа строй», линию, диагональ – совмещая с отрезком отпущенного времени свое движение в заданном пространстве. А между тем балетные люди не видели, казалось, простейших вещей: штанкета, опускающегося сверху, незакрепленной трубы, падающей на них при попытке «разогреться», накатной платформы, ползущей на них во время перемены декораций, – они не могли взять в толк, что театр, это: «всё течет, всё изменяется», и с детской наивностью и испугом озирались, увидев внезапно изменившееся *face of stage*.

И к глухонемым они были близки потому, что говорить для танца было почти незачем, разве что: аттитюд, арабеск, баланс, – нужно было слушать, слушать музыку, мысленно считать такты. Часами, годами молча упражняться перед зеркалом, добиваться совершенства техники, позабыв о «роскоши человеческого общения».

Поначалу Свягину казалось, что колдовство артистов над своим телом было из рода некоей самовлюбленности. Они часами смотрели каждый на свое отражение, и всё, что относилось не к слову, а к *телу*, то есть жесты, походка, своеобразие движений – будто бы носило у них характер особого аристократического изыска, чуть ли не намеренного желания отличиться от небалетных людей.

Но это было ошибкой. «Культа тела» как такового в балете не существовало. Тело для артиста являлось ничем иным, как только рабочим инструментом, вроде молотка для кровельщика или гранатомета для военного. Артисты часами смотрели в зеркало не на себя, не на свои ноги, а только на то, что и как эти ноги *делают*. Свягин немало поразился, увидев когда-то впервые балетных людей на пляже, без грима, без трико. Это было собрание перекачанных мышц, мозолей, стертых фаланг. Грациозность, упрятанная в трико, дорого оплачивалась.

– Ну, не «западай» так на балерин, – учил Свягин молодого коллегу, только что поступившего на работу, – а в особенности не играй перед ними своими мышцами. Это пустое, у них самих такие же.

Тело, тело! Принесенное в жертву занятию тело! Нечувствительное к чужим рукам тело, где объятия ничего не значат! Артисты были сами вечными заложниками своего тела, его слугами. Свягин общался с предметами, касался их, заставлял их служить себе, а артисты имели дело только со своим телом, их касалось только оно. Тело для производства танцев было главным стержнем их психологии, призмой, через которую воспринимался мир.

Они и не хотели никогда удивить этот мир какой-то особой стройностью или особой походкой, они и волосы убирали подальше потому, что это была единственная не управляемая их волей часть тела.

Тело, тело! Молоток и жесь, гранатомет и танк одновременно. «Она чудесный человек, – говорила одна из балерин о своей соплеменнице Свягину, – ведь у нее замечательные ноги». – «Есть ноги и получше!» – едва не вырывалось у Свягина. Он и не ведал, что дело тут – вовсе не в форме ног. Что и оценка характера находится в прямой зависимости от обладания «умелыми» ногами, которые с утра до вечера без сбоев работают на одной линии с твоими.



Вячеслав Сысоев. Иллюстрация к повести А. Милюкова «Томбее или Шаг в падении» в альманахе «Остров» № 6, 1997 г., Берлин

5.

– «Балет приехал!» – кричали люди из технической группы. Толпа артистов вываливалась на сцену. Со светом еще не закончили, техники нервничали, приходилось поторапливаться. – «Бога ради, ничего не трогайте!» – умолял Свягин без всякой надежды, по привычке. Фонари еще включались группами, для записи программ на несколько секунд приходилось еще делать полную вырубку, *black out*. Артисты здоровались, заученно укладывались на пол, шевелили ступнями, растягивались. Во время вырубок кричали хором: «Дайте свет!», очевидно, думая, что осветители дурачатся.

– Ку-ку, – говорила одна из балерин Свягину, что на балетном языке означало, видимо, приветствие.

– Здравствуй, Эльвир, привет, ты кстати, – скороговоркой отвечал Свягин. – Я хотел...

– А вот так нормально?

– Что, «нормально»?

– Да нет, я не о том. Сереж, класс сегодня на сцене, ты не знаешь?

– Нет, я вашего графика не знаю, нас вызвали сегодня раньше обычного.

– А вас, постановочную, вызвали на класс одних, или мы тоже нужны?

– Боже! – хватался за голову Свягин. – Мы – на класс?! Как ты себя чувствуешь?

– Да нет, ахиллы уже в порядке. А так... Ну, вообще, так. А нельзя ли сегодня, Сереж, на мой номер свет сделать поглубее, чем в тот раз?

– Э-э, как это «поглубее»? Ты вот что... Ты лучше по-хорошему меня выслушай! – ощетинивался Свягин. – Дело у меня! Мне нужен сейчас твой Лет... (Свягин чуть не проговаривался, называя балерининою друга по кличке, Летающим Шкафом) ...твой Илья. Мне нужно, чтоб вы показали позы для световых переходов, иначе я собьюсь. И выходы ваши в темноте, откуда вас с Ильей брать. Ты-то, конечно, не помнишь?

– А, кстати, хотела спросить. Где мне выходить?

– Стоп, стоп. Это я уже и спрашиваю. Я – первый спросил. Пойми, что я не могу знать это за тебя. Из какого плана тебе выходить удобней. Где Илья?

– А причем тут позы? Ты разве не знаешь? Мы с Летающим Шкафом больше не друзья. Мы теперь с Колей Рубако. Танцуем теперь с ним, еще сегодня утром этот номер репетировали.

– Понятно. Роль судьбы отведена балетмейстеру, – бурчал Свягин, зная, что балерина его не поймет. – Ну так покажите с Колей!

– А ты, кстати, не знаешь, где он?

Свягин угрюмо отходил.

– Этот Свягин какой-то ненормальный, – жаловался один из артистов, Гарик Майданов, своему приятелю, с которым они «грелись» на планшете, лежа голова к голове. – На выездном концерте в зале Чайковского дал мне перед выходом какую-то табуретку дурацкую, чтоб я с ней на сцену вышел. Никогда не поймешь, шутит он или серьезно. Спрашиваю, зачем. А он говорит, что адажио из «Лебединого» под баян пойдет, известный баянист приехал.

– И ты вынес?

– Ну да. Для баяниста. Я же думал, правда.

– Вот ты дурак! Я Свягину никогда не верю. Однажды захотел в туалет и спрашиваю у него, где тут можно взять бумаги. А он мне говорит, в бухгалтерию сходи, там бумаги полно, и вся ненужная. Пришел, а на меня как на идиота смотрят, что я у них туалетную бумагу спрашиваю. Свягин, конечно, гад, но уж и я над этими писаками посмеялся. Представляешь, какие там грамотеи, дураки безмозглые сидят, – у них слово «бухгалтерия» через «х» написано! «Бухгалтерия!» Обкакаться можно!

...«Балет приехал!»

Слово «балет» техники произносили только в присутствии артистов. В технических кругах к балетным артистам всегда было снисходительно-сочувственное отношение как к существам не во всё полномценным. Животные, шатия, балетозавры, скелеты, копыта, членистоногие, слонотопы – так именовались они неофициально. Они воспринимались если не как враги, то, по крайней мере, как досадная, но, к сожалению, неустраняемая помеха в работе. Они не понимали самой сути художественного оформления. Они снимали грузы с декораций, чтобы «качаться» в антракте (декорации падали), они как черт ладана избегали направленного верхнего света, софитного «снопа», откатываясь во время действия в темноту, в световые провалы, чтобы свет их не слепил; они отключали сценические колонки – подзвучки, чтобы те их не раздражали.

Было бы мелким ругать человека, создающего образ вживую, за его непредвиденные, «попутные» слабости. Но, как бы ни старались Свягин и его товарищи, для большинства артистов казалось еще и слишком заманчивым свалить огрехи своего танца на техническую группу. Так и выходило, что свет почти всегда оказывался слишком ярким, звук слишком громким, пластик скользким – иными словами, «вода слишком мокрой».

У техников дурным тоном считалось знаться с балетом, ибо работы в театре всегда хватало и без расхлебывания чужих несовершенств и капризов. Было техническое братство, были зоны, запретные для артистов, которые техники старались еще отвоевать и расширить, дабы не собирать себе на голову лишних угольев.

Но плевать бы Свягину на принятую в своем кругу условленную нелюбовь к балетным людям, да были у него собственные соображения на сей счет. Сам он никогда не считал себя только техником, как и не считал обязанным подчиняться коллективному уговору о неприятии танцующего люда. Свягин «по гамбургскому счету» относил театр к своему хобби, пытаясь внести в работу элемент игры и всегда немного с иронией, как бы со стороны, наблюдал за «серьезностью» вокруг него происходящего. Ему нравился собственно театр, атмосфера театра, душа театра, его особый запах, внезапность меняющихся условностей, его живые машины и механизмы, его – с детства желанная – игра местами и обстоятельствами, временами суток, временами года и временами вообще. И артисты – не люди, измотанные физически и не пытающиеся связать двух слов, – а артисты как некое понятие, неотделимое от театра, как нечто, связующее с ним, одетое в парики и костюмы, как часть живого, как живая часть декораций – Свягину тоже нравились, и здесь нет противоречия, читатель. Для Свягина не было бы театра без питья пива в театральном буфете вместе с тореадорами и нибелунгами, без прогулок по жизелевскому лесу в окружении пестрых крестьянок, или вот: звездное небо, где – мгновение – и уже нет ни звезд, ни ковша, а есть только внезапный, всё заполнивший свет, знойный пейзаж с пирамидами и цепочкой далеких ливийских гор на горизонте.

Наш герой по причине какого-то наивного эгоизма не мог примириться с выпячиванием чужого творчества, с этим тщательно раздуваемым в театре, насквозь фальшивым, внешним и абсолютно циничным «культом артистов», к заботе о самих артистах мало имеющим отношения. Ценя превыше всего слово и общение без подоплеки, но, видя полное отсутствие этого дара у балетного люда, он и не вникал в механизм этого чужого творчества. Балетный мир не был свягинским подобием, резервом для пополнения его воображаемой армии «мечтателей и полуночников», и этого было достаточно для бывшего романтика, а ныне умудренного опытом поэта и реалиста.

Глава 2. Те и другие

1.

Вдруг кончилась эпоха всенародных «неуклонных подъемов» и «героических созиданий на благо» – и началась эпоха зарабатывания денег.

Умерли слово «копейка» и анекдоты. И они были не единственными павшими, да и не последними. Главным событием XX века оказалась не октябрьская

революция, а всенародное горькое осознание в конце концов того факта, что в России никогда ничего нельзя тронуть так, чтобы не стало хуже.

И в балетный мир Жизелей и Сильфид эти ветры тоже ворвались – Терпсихора стала лицом смахивать на Диану. Чувство всеобщей обделенности и недоданности за труды передалось и артистам, чувство несоответствия формы содержанию – в прямом смысле.

С ослаблением старой удавки начался массовый исход звезд балета на контрактную работу за рубеж. При любой возможности в немилую заморскую сторону отбывала и зеленая молодежь. «Да ты же на ноги еще не встала!» – укоряли репетиторы какую-нибудь юную барышню, еще тепленькую, из училища. «Вот там и встану!» – парировала та, поражая логикой.

Но адская балетная машина продолжала испекать все новые и новые пополнения этих прыгающих руконогих существ, этих одинаково-стандартных людей с отсутствием работы мысли на лице, этих загадочных *прикольцев из шесмоса*.

Коллектив артистов театра, где работал Свягин, в течение года почти полностью обновился. Добрую половину труппы Свягин уже не знал по именам.

...А интерес к русскому танцу на Западе потихонечку иссякал. Своего модерна в России никогда не было, а классическое наследие, бывшее прежде надежной синицей в руках, за годы невнимания к мелочам так перелицевали и перемордовали многочисленные честолюбивые «возобновители», что и то последнее, что имели, упустили.

Начались дешевые, шаромыжные, «чѐсовые» гастроли. Начались заграничные поездки (бывшие прежде чем-то неотделимым от русского балета) – «на любых условиях», поездки с хитрого вида личностями, именующими себя импресарио, не выполняющими половину обязательств и экономящими уже на вещах, святых для всякого русского человека: сне, еде, выпивке.

2.

В Италию ехали с Киевского вокзала до Будапешта, а там на автобусе дешевого итальянского агентства «Сильвестри» – через Югославию и Францию.

Стоял сентябрь, вторая половина. Югославия утопала в зарослях хмеля, гроздьях винограда, початках кукурузы. На склонах гор вблизи селений паслись стада. У обочин дорог возвышались гигантские, размером с дом, плетеные короба-корзины с частью собранного урожая. Люди трудились, казалось, с той приятной долей усталости, что обещает скорое завершение всех дел, а там и отдых, и праздник урожая, и праздник жизни, и можно не глядя сгрести руками бессчётно початков из кучи, и конец – делу венец, и всё сошлось, играй музыка, пускайтесь в пляс ноги: целый год горя не будешь знать с таким урожаем!

Но уже всё дышало предчувствием войны. Всё чаще попадались по пути противотанковые ежи, бетонные надолбы, наспех спрятанная артиллерия и бороздящие небо боевые вертолеты – странные своей однозначностью признаки, на хороший исход надежды не оставляющие. Спустя время Свягину казалось, что Югославия только и замерла напоследок, чтобы пропустить транзитом их последний автобус. Что лишь в связи с их переездом откладывались на время бомбардировки, прямые артиллерийские попадания, горящие селения и горящие корзины с урожаем.

Администрация балета, эти инвалиды умственного труда, эти заслуженные работники культуры и отдыха, по загадочной чиновничьей привычке считать первые ряды где бы то ни было наиболее престижными, на них и восседали, перепу-

тав свою пространственную близость к водительскому креслу с близостью к какой-то из высоких трибун. Свяягину было искренне жаль этих солдат справедливости – на протяжении всех переездов чиновники сидели прямые как свечки, не имеющие возможности даже вытянуть вперед затекшие ноги (колена упирались в барьер), но имеющие возможность в любую минуту встать и обратиться с речью ко всему салону, к креслам «нижестоящим». Самыми удобными были последние два ряда, разделенные большим пространством задней двери, не говоря уже о заднем сиденье, на котором можно было, согнав на время товарищей, поспать всласть, вытянувшись в полный рост. Расписывая по фамилиям места в автобусе, чиновники, сами все сплошь вышедшие из балета, столкнулись с неразрешимой для их способностей задачей: артисты и техники в списке вдруг неожиданно кончились, а места еще оставались. Естественно, что самые удобные последние ряды и заняла свягинская команда, начхав и на список, и на администраторов, и на повисшую в воздухе задачу.

Всё остальное пространство салона занимала кишащая, сплетающаяся в единственной заботе о своем теле, балетная братия. Едва автобус трогался после очередной стоянки, проходы меж рядами заполнялись лежащимися валетом телами, ноги сидящих в креслах закидывались едва не на плечи сидящих впереди. Ноги задирались на стекла окон, руки подвизывались занавесками. На поворотах кому-нибудь въезжали в ухо коленом или кроссовкой. Умудрялись отдыхать в три этажа: кто-то лежал меж кресел в проходе на полу, кто-то над проходом в креслах двух соседних рядов, а на того, спящего, как на опору, забрасывали еще ноги товарищи.

До городов, где выступали, ехали сутками, ночевали иногда в автобусе. Большая часть труппы, спешно набранная в коллектив перед поездкой, испытывала небывалый юношеский подъем, связанный с новизной ситуации, с переменой насиженных мест.

...Но время в пути текло вяло. Вскоре начали вспыхивать первые ссоры. В автобусе было душно, балет капризничал. «Прего, синьор! – то и дело кричали водителю-итальянцу на жуткой смеси всех языков. – Эйр кондишн, плиз! Тут дышать нечем!» Водитель попеременно включал и выключал кондиционер, но никак не мог поймать температуру, устраивающую всех. Кто-то накрывался пледом, возмущаясь, что его заморозили, – кондиционер выключали, начинали возмущаться другие.

Спектакли шли редко, а так всё: ехали и ехали.

3.

Как-то утром автобус стоял у бана на заправке «Аджип». Солнце уже давно вошло, прорываясь сквозь занавески салона, нещадно припекая и слепя, но первую утреннюю стоянку после ночного переезда многие все-таки проспали. Сменный водитель сигналил, собирая куривших на еще влажной траве сонных жителей автобуса и вызывая из туалетных предбанников наспех умывающихся. Кто-то только сейчас просыпался, хлопая глазами и потирая горящие щеки, измятые за ночь о жесткий ворс сидений.

– Сегодня что, спектакля нет? – спрашивали балетные девушки, доставая косметички, щетки и заколки. – И, кстати, где мы, во Франции или в Италии?

Звукорежиссер Шура по прозвищу Фанерыч, друг Свягина, задира, лингвистический хулиган и словесный террорист, проснувшийся первым и успевший сбегать в придорожный магазин, заливался соловьем:

– Не знаю, кто где, а я уже побывал с утра – в шопе!

Девушки хихикали, закалывая волосы.

– Поесть хоть чего-нибудь взял? – пытали Фанерыча техники, – или опять только пакеты с вином, бурду эту, шкурки давленные? Пакетоноситель хренов!

– Сонные тетери! – отвечивал Шура патетически, обращаясь к товарищам и косясь на двух сидящих поблизости балерин. – Пищелюбы и пакетофобы! На ужин, в отеле, по приезде можно будет сбацать грибной супчик, а пока – жизнь продолжается! Жизнь, дорогие мои ездуны и ездуньи, должна бить ключом, чтобы всё двигалось, пульсировало, чтобы одежда трещала по швам и всё разлеталось в клочья! А так как наша жизнь на сегодняшний день – опять сплошной ездец, то есть, грубо говоря, снова шестьсот километров этого поганого, остобрыдлого переезда, предлагаю произвести утренний пакетный залп!

– А не ударить ли нам лучше ракетами класса «автобус-автобус»? – возразил осветитель Ухтомцев, имея в виду старые запасы, две бутылки «Чинзано».

– Любо! Любо! – зашумели техники.

И новый день начался, деятельность закипела. Заревел двигатель автобуса, запели молнии сумок, замелькали ножи, ломтики сыра и хлеба, застучало золотое вино по пластиковым стаканчикам. Разговор оживился.

– Режь всё сразу, а консервы на потом оставим.

– Ухтомцев, я тебе в следующий раз скотчем рот заклею, что ты сегодня ночью вытворял! Мы тебя уже хотели на крышу автобуса вместе с креслом выносить!

– Да ты б посвистел тихонечко! Я бы храпеть и перестал.

– Свистел ли я?! Да я – кричал!

– Не задерживайте отстрелянные гильзы, передавайте! Еще один подкалиберный – заряжай! И какой это враг апельсины вдоль нарезал?

– Ой, ребята! Вам, наверное, так трудно приходится, – тяжело вздыхая, говорила присевшая рядом с Фанерычем балерина Эльвира Чулкова, – столько у вас работы на спектаклях. Ужас такой, сплошной.

– Мы что, не мужчины? – выпячивал грудь колесом Шура, не угадывая, куда Чулкова клонит. Ему было приятно ее внимание и соседство. – Нам негоже жалиться. Как бы мы к вам плохо ни относи... кхе... В конечном счете, я хотел сказать, мы все-таки работаем для вас, для членистоног... балета, то бишь. Для балета мы работаем, – начал отвешивать он какие-то сомнительные с точки зрения технического братства комплименты. – Вы только танцуйте, а мы уж как-нибудь! Потерпим!

– Я т-те щас поработаю для балета! – зашипел на него Свягин, – для балета он работает! Мы все работаем для нашего дорогого зрителя, делаем одно общее дело. Большое дело делаем!

– И даже не столько для зрителя, – ввернул Ухтомцев, – сколько для бессмертного искусства!

– Для победы Добра над злом! – вставили еще.

– Для утверждения всеобщей вселенской гармонии на тернистых путях мироздания!

– Может, винца выпьешь? – бестолковый Шура протянул Эльвире пластиковый стаканчик с вермутом.

Балерина молча взяла стакан и сразу начала пить. Картинно помахав ладошкой у рта, только потом сказала:

– Чтобы ручки и ножки не болели! А поесть чего-нибудь... то есть, закусить?

Но ей уже протягивали булку с сыром. Эстет Шура даже изловчился положить сверху кисточку свежайшего, пахучего, невесть откуда взявшегося укропа.

– А нам укроп? – грозно подступили к звукорежиссеру товарищи, когда очередь дошла до них.

– Звиняйте, парубки, бильше нэма! – стал выкручиваться тот почему-то на украинском, видимо, рассчитывая, что на этом языке его не поймут.

– Измена! – крикнул Свягин. – Засада! Общение с нами и наше благое расположение нужно заслужить тяжелым умственным трудом. А наш укроп отошел балету!

Все добродушно рассмеялись.

– И все-таки нам вас жалко. Так, миленькие, устаете, – пошла Эльвира минуточку спустя «по второму кругу», за новой добычей, – зрители аплодируют не только нам, но и вам, вашей работе. И вообще, говорят, что в следующем городе на наш спектакль будет аншлаг, а на Кировский балет, который там сейчас работает, зрители билеты сдают.

– На что сдают? – раздался вдруг откуда-то снизу, из-под кресел, сдавленный голос. – Меня тоже запишите!

Это был артист Гарик Майданов, ревнивый недруг технической команды, единственный из балета, кто не признавал права постановщиков на собственную территорию. Он еще с ночи не просыпался, лежа под одним из кресел заднего ряда. Его давно заметили, но не гнали из гуманных соображений.

«Меня тоже запишите!» Техники заготовили хором. Гарик, выглядывая, тарачил глаза спросонья, ничего не понимая.

– Мы тебя записали членом в наш клуб! – захлебываясь от восторга, горланит словесный террорист Шура, местами как-то даже повизгивая. – Потому, что... Потому, что у нас – карандаша не было!

Наконец, отсмеялись, подобрели.

– Брось ему туда чего-нибудь поесть, – раздалась сочувственные реплики. Шура, как величайшей драгоценностью, помахал перед носом артиста куриной костью:

– Служить!

– Блин, как он тебе будет служить под креслом? – изумленно спросила Эльвира. – Ты его хоть выпусти оттуда, – «заступилась» она за артиста.

Несли варварское:

– Говорят, собакам нельзя давать куриные кости.

– А я слышал, можно. Рыбные нельзя, пораниться может.

– Не, это вы оба путаете что-то. Это топор нельзя в сапоге носить, чтобы пёс не поранился, а кости можно – любые.

Гарик, гневно сжав зубы, пополз было из-под кресла, но хулиган Шура, широко расставив ноги и выпуская артиста, заверещал на весь салон:

– Отвернитесь, бесстыжие, охальники! Ой, мамочки-и! Ой, щас артиста балета рожу!

– Ладно, ладно, брат, вылезай, – добродушно сказал Свягин, – ибо, как ни крути, человек не собака и в ногах валяться не должен! Ноги ему – не к лицу, пardon за каламбур!

Однако и Майданов просто так сдаваться не собирался. Встав с войлочного пола и поправив сбившийся за ночь спортивный костюм, он с нервной усмешкой плюхнулся в свободное кресло рядом со Свягиным.

– Я поеду пока здесь, – сказал он. Затем, помолчав немного и, по всей вероятности, что-то мучительно припоминая, обратился к Свягину покровительственным, не идущим к делу тоном:

– Вот ты вчера говорил, что нельзя... это, как там? Цити...

– Цитировать, – подсказал Свягин.

– Ах, да, цитировать, – артист произносил слова нараспев, чуть по-женски. – Говорил, что цитировать чужое, а не выдавать что-то от себя, могут только олухи и евнухи. А сам – цитировал! Да еще так туманно. Мне абсолютно непонятно, что ты хотел сказать вчерашней фразой: «Последние будут первыми», но сам признал, что это не твое. Объясни.

– Знавал я одну девушку, – отвечив Свягину загадочно, – которая, начитавшись в газетах о притеснении негров, хотела из жалости выйти замуж за одного из них. И ты, брат, не горюй. Еще не перевелись такие девушки на Руси. Всё, может быть, устроится, обойдется. Шура! Еще цитату!

– Артистом можешь ты не быть, но спать в своем углу обязан! – отрезал Шура с удовольствием. И добавил:

– Знаешь, почему у тебя не все дома?

– Почему? – с достоинством спросил артист прежде, чем до него дошел смысл вопроса.

– Потому, что тебя нет на месте. Ни в Москве, ни в этом автобусе!

Возникла долгая пауза, подразумевающая артисту идти с Богом, но тот явно еще не получил удовлетворения.

– Ну, рассказал бы чего-нибудь, – с легкой усмешкой тянул резину Майданов, обращаясь к Свягину, – историю какую-нибудь, анекдот новый. Чего замолчал?

– Вот ты и расскажи, чего другим отдуваться? Тем более, что твое кресло не обслуживается, – лениво отмахнулся Свягин.

– Значит, так, – оживился артист, – нашел Чебурашка лом и приходит с ним к Пугачевой...

– Э-э, нет, – сказал Свягин, – так дело не пойдет. Давай уж лучше я.

– Ну.

– Берет журналистка интервью у боксера. Ну, тот тупой, ни одного вопроса понять не может. Она уже сама начинает за него: «Конечно, вам такие мощные руки нужны, чтоб сильнее наносить удары по противнику, сбивать его с ног?» Тот долго думал, потом выдавил с трудом: «Да». – «А такие сильные ноги вам нужны, чтоб быстрее двигаться по рингу, прыгать, уходить от ударов?» Тот опять тяжело задумался. – «Да-а!» – «А такая маленькая голова вам, конечно, нужна, чтобы противнику было труднее по ней попасть?» Боксер опять: «Да», а потом еще подумал, вспомнил что-то и даже просиял от радости: «А еще я в неё – ем!».

– Да, – сказал Майданов, подумав, – хорошие физические данные, это уже полдела. Это как пить дать.

– Тут какой-то подвох! – зашумели из ближних балетных рядов. – Майданов, дурак!

Гарик Майданов, видимо, и сам почуял неладное. Получив подтверждение этого со стороны и волнуясь, он бухнул ни к селу ни к городу:

– Зато мы танцуем, а это главное!
– А зачем? – спросил Свягин.
– Что, «зачем»?
– Зачем танцевать, если... Если можно всё, что ты чувствуешь, сказать словами?

– Я ничего не понимаю! – истерично воскликнул, вскакивая с места, Майданов. – Какие-то сплошные загадки, бред какой-то! Какое мне от этого удовольствие?

Пройдя по салону пару рядов, он растолкал одну из балерин, мирно спавшую в двух креслах:

– Юль, Юль, проснись!

– А-а, что? – зашевелилась та.

– Извини, проснись. Ты уже выспалась? Можно, я посплю на твоём месте? Я, гля, как в будке сегодня какой-то собачьей спал. Сядь к Урсуле пока, если не сложно. А я посплю еще.

... – Тема нашей следующей лекции: «Балет как один из факторов нарушения природного равновесия», – говорил Свягин, когда Майданов ушел. – Но сначала алла прима, коль уж мы в Италии. Добьем картину сразу, чтоб краски подсыхали одновременно. История для девушек, – он повернулся к Эльвире с подругой, Таней Перегудовой. – Вы, мои дорогие, конечно, не знаете, что у всякого поэта через всё творчество красной нитью проходит один-единственный женский образ, часто воображаемый. Так и я, будучи еще совсем юным, написал поэму, где придумал образ идеальной девушки, которую мечтал бы встретить. Любовь, сопли всякие, лет десять назад было. И какую фамилию я ей дал, как вы думаете? Майданова, любить меня некому! Вот они, причуды судьбы, пророчества наизнанку и извращения вашего балетного мира: девушку так и не встретил, а Майданова накликал на свою голову!

Окружение дружно заржало по-лошадиному, не желая *отпускать* такую благодатную тему. Предлагали Свягину жениться на Майданове, чтоб старые мечты «даром не пропадали», намекали на его несуществующую «голубизну», а когда навстречу их движению промчалась бронетехника Объединенных Наций, спешащая, видимо, в Югославию, то закричали едва не хором, перефразируя тему голубых касок UN: «А не хочешь ли быть голубым в касках?!» и т. д.

– А можно, я сегодня к вам на грибной суп вечером приду? – спросила Эльвира, – и Таня тоже?

– Хм, – сказал Свягин в некотором замешательстве, – пожалуйста, но... Как к этому, э-э... отнесется Коля Рубако?

– А ты разве не знаешь? Мы с Колей уже не друзья. Мы теперь снова с Летяющим Шкафом, только он в Москве остался. Вернусь – будем репетировать с ним новую партию, нас уже назначили. Так что э-э... проблем нет.

– Остался?! Да это мы мигом! – обрадовался чему-то своему Шура Фанерыч. – Супчик, я имею в виду! Супчик – мигом!

И пропал казак. Бросив на полдороге «голубого» Свягина, его окружение тут же дружно «навалилось» на Шуру, продолжая веселиться, обзывать Фанерыча «кожзаменителем», который «быстро растрескается» и, памятуя его звукорежиссерскую сущность, тонко намекать на какую-то «флейту-пикколо».

– А кто сегодня готовит супчик? – спросил осветитель Ухтомцев.

– Я могу! – воскликнул Шура. – У меня в номере можно остаться... то есть, собраться! *Всех* накормлю!

– Что значит «могу»? Чья сегодня очередь варганить?

– Свягина, – напомнил какой-то «гад из ветвей».

– Вот и не надо ломать наших добрых традиций, – буркнул Ухтомцев.

– Кто бы спорил, – как можно более равнодушно говорил Свягин, уличенный в «дежурстве по кухне». – Я и сам хрен кому доверю готовить этот замечательный, с маслянистой каемочкой золотистых кружков, с обжаренным луком и морковочкой, с томящимися ароматными дольками упругих грибов, пахнущих покинутой родиной, ее хвойными лесами и травами – грибной супчик! К тому же, вы еще будете грязными, как свиньи, а я под душ пойду первым. Шурино вино не забудьте прихватить и хлеба, у кого сколько есть. И сковородку не забудьте. И сразу ставьте воду, замачивайте грибы, покуда я буду мыться.

– Может, обойдемся без сковородки сегодня? Это двухконфорочную плитку в номер переть. Она в багажном отсеке, не отроешь.

– А чья очередь?

– Ухтомцева.

– Ну вот и не ломайте традиций!

– Да-а, – мечтательно протянула Эльвира, которую, видимо, проняла свягинская тирада, – вот вы всё время едите какие-то вкусные блюда, а нам наше руководство хер когда чего выделяет.

При этих словах один из балетных чиновников поднялся с переднего кресла, повернулся лицом к массам и, ошалело глядя на говорившую, обратился к артистам:

– Товарищи! Я надеюсь, вы все понимаете, что большую глупость, чем замечание артистки Чулковой, трудно было ляп..., то есть, сказать. Мы, руководство, только и слышим в последнее время: вы должны, вы обязаны, давай, давай. Мы все получаем одинаковые суточные, товарищи. И на что тратить их – личное дело каждого. Только в голодные обмороки не падайте. Но я хотел сказать не о том. Последнее время мне не нравится психологический климат в нашей труппе. Вы что, забыли, что мы находимся за рубежом? И я настоятельно (чиновник подпустил металла в голос) напоминаю и требую – думайте не о супе, а о работе! Только о работе. График наших дальнейших выступлений предельно сжат, ситуация экстремальная! Почему же, например, на репетициях раздаются голоса, настаивающие на обязательном перерыве на обед, отдыхе? Почему труппа, вошедшая в образ, должна прерывать репетицию только на том основании, что настало время обедать? Вы же артисты! Интересы профессии должны быть для вас превыше всего! Кстати, к постановщикам это тоже относится. Вы согласны со мной, Свягин?

Конечно, Свягину хотелось бы честно сказать то, что он думает и чувствует, а именно: «Не захлебнись своими помоями, чмо!», но он только буркнул недовольно, с меньшей долей почтительности, чем та, которую могли позволить себе артисты в отношении своего начальства:

– В деталях.

Видя обращенные на него взгляды технических соратников, он понимал, что приятели ждут сейчас защиты общих интересов, начала схватки, в которую могли бы втянуться и они.

– Что значит, «в деталях»? – спросил балетный чиновник. – Я говорю о единстве всех служб, неразделимости общего дела. Меня возмущает работа западных

театров. Артист замахнулся для прыжка, осветитель взялся за фонарь, рабочий взмахнул молотком, а профсоюзный представитель кричит: «Всё, стоп, перерыв!» Можем ли мы такую глупость насаждать у нас? Подумайте.

– Дорога дальняя, – тянул резину Свягин, – можно, конечно, и подумать. Коллективное творчество, его законы... Я плохо разбираюсь в этом. Когда человек пишет книгу, ему не нужны слуги с канделябрами и чернильницами. И до ветру он может сходить по собственному усмотрению. Но мне всё время почему-то навязчиво мерещится одно: вот с этих мелочей, с наших уступок, с отказа от глупостей вроде обеда и отдыха, и с таких вот вроде бы патриотических призывов типа: не до грибов, Петька, не время сейчас, ситуация сложная, труба зовет! – всегда начинается одна и та же старая песня. Главное – чтоб ситуация была сложная!

Затем подумал и добавил патетически:

– И августа 91-го – как ни бывало!

– Что за песня? – насторожился чиновник. – Я вас не понимаю.

– Да зовите это как хотите. Диктат, игра в одни ворота, исключения, становящиеся правилом... Это, Игорь Глебович, – вдруг бухнул он, – нарушение прав человека! Это в ООН писать телегу надо!

Вы на него зла не держите, Игорь Глебович! – с фальшивым, напускным ужасом подхватил свягинскую эстафетную палочку осветитель Ухтомцев. – Свягин ни в коей мере не хотел никого обвинить. Ни-ни, Боже ж упаси! Он к вам потрясюще хорошо относится, могу поклясться на вашем чемодане! Когда вас забыли на последнем переезде и кружили на автобусе по городу, Свягин первый вас заметил и сказал: «Вот наши деньги!» Я, каюсь, грешен, не разглядел всего сразу и возразил Свягину: «Это не человек, это – памятник!», но ваши балетные стали настаивать: «Какой еще памятник, он же нам руками махает!» – «Если махает, – сказал Свягин твердо, – то поехали дальше, это точно не Игорь Глебович, потому, что Игорь Глебович никогда не махает, а исключительно машет». И вообще, все мы тут уверены, что вы – единственный в целом свете, кто может не только подсчитать нам наши суточные и переработку, но и то, сколько балерина не докрутила фуэте и на сколько процентов артист не вошел в образ. А вы в нас сомневались.

– Спасибо за всё, друзья, – усмехнулся Игорь Глебович. – Это, несомненно, будет учтено при распределении валютной переработки. А вы, Свягин, – обратился он к нашему герою, – не разлагайте мне коллектив. С артистами мы разберемся сами, без вашей помощи. Театр по сути своей – образование тоталитарное, не забывайте. Нелояльность к руководству ведет к творческому кризису артиста. Но мы артистов и супчиком накормим, если нужно, и лишних денег на переработку подкинем. Изыщем резервы.

– Жопой чувствую, неправы мы с грибным супом! – сказал звукорежиссер Шура.

– Александр! – возмутился Игорь Глебович. – Я настоятельно попросил бы, чтоб подобных слов с вашей стороны больше не было!

– Ну, вот, – сказал Шура, расстроившись, – обидно как-то, несправедливо. Жопы есть, а слова такого – больше не будет. Жалко, мужики, до ужаса.

– Перед лицом общей беды, – сказал Свягин товарищам, – сплотимся еще теснее, братья-мусульмане!

– Почему мусульмане? – зашумели техники.

– Потому, что нам всем только что переработку обрезали!

И, собрав друзей в круг, как бы подытоживая, мудро сказал, подняв палец:
– Таково свойство всех жирных мух – портить нам пиво!

4.

С некоторых пор стали появляться в свиягинском углу и новые, незнакомые до того, танцовщицы, пришедшие в театр перед самой поездкой. Одна из таких, сидевшая несколькими рядами впереди, накануне ни с того ни с сего приснилась Свиягину.

Сны – это всегда ощущения, а уж только потом сюжеты. Балерина танцевала в каких-то невероятно воздушных одеяниях, разлетающихся, переплетающихся тканях что-то вроде газ-шифона, и чем усерднее танцевала, тем больше ее одежды путались и переплетались, мешая танцевать. Она будто желала достичь бесплотной легкости, а ощущение было тревожным.

«К чему снятся балерины?» – думал Свиягин, трясаясь на очередном переезде, под монотонный шум двигателя. Утренние страсти нового дня уже тихо сошли на нет, и все обитатели автобуса впали в обыкновенное тут безразлично-дремотное состояние. Свиягин полулежал на двух своих креслах и на волне общей неспешности, по необходимости лишь скоротать время, разглядывал затылок спутницы. «Обернись же, создание!» – мысленно приказал он ей.

Вдруг та, будто почуяв взгляд, быстро обернулась и посмотрела на Свиягина. Да, отметил наш герой удовлетворенно, это была та самая, что приснилась. Свиягин, разглядывая, узнавал ее, удивляясь свойствам подсознания – запоминать и воспроизводить некие вещи отчетливей, чем обычная, бытовая, автобусная память.

Балерина, встретившись со Свиягиным глазами, полуулыбнулась-полуусмехнулась и, по-кошачьи соскользнув с кресла, направилась к нашему герою.

– Э-эх! А могла бы остаться мечтой! – широко, но злорадно подумал Свиягин.

Тем не менее, он успел разглядеть ее в «реальности». Танцовщица, как и все прочие балерины в автобусе, по причине жары была значительно обнажена – из одежды имелись на ней только легкая пляжная полумайка светло-салатового цвета с характерными признаками «рельефа», да широкие, по последней автобусной моде, шорты, из которых торчали бесконечно длинные ноги в легких шлепанцах. Девушка вышагивала по проходу салона, опираясь тонкими руками о подлокотники и спинки кресел, тренированно вытягивая в струну ногу и легко перепрыгивая через лежащие на полу, «отдыхающие» тела своей братии.

– Только загадка способна пленить! – мысленно изгалялся Свиягин, пока гостя пробиралась к нему. – Да, могла бы остаться мечтой! Но сейчас мы заговорим! Откроем рот и – сказке конец!

– Что? – с ходу спросило юное существо, поставив в тупик даже такого тертого в балетных диалогах калача, как Свиягин.

– Э-э... хм... – растерялся он, онемев от неожиданности. – Знать бы, что я должен отвечать!

Глупость ситуации его развеселила. Он сидел в кресле каким-то восточным шейхом, а девушка, опустив глаза, стояла перед ним наложницей и спрашивала: «Что?».

Свиягин чувствовал, однако, что и гостья находится не совсем в обычной для себя ситуации, общаясь с человеком не балетного круга. Поэтому, подвинувшись к окну и освободив одно из кресел, он помог ей:

– Присаживайтесь. Сейчас будем пить вино за знакомство.

– Так я посижу? – спросила балерина.

– Посидите. Вас как зовут, радость моя?

– Годунова. Маша, – отвечала та по накатанной балетной привычке именоваться, начиная с фамилии. – Вообще-то обычно... не принято самой приходить, – добавила она с сомнением, присаживаясь рядом со Свиягиным.

– А по-моему, тут как раз иначе и не принято. Или ваш приход чем-то необычен? – веселился Свиягин.

– Да нет, самый нормальный! – воскликнула девушка, как бы слегка испугавшись.

«Как все-таки жаль, что такие изящные создания – балетные!» – думал наш герой, вкладывая в слово «балетные» все тот же определенный смысл. Он вспомнил неожиданно о своих прежних наивных симпатиях к балеринам. И он уже знал наперед, чего ему ожидать теперь – и от этого прихода, и от этого разговора. И всеобщий интерес к свиягинскому углу, бывшему зоной, свободной от крепостного права, и полуусмешка гостьи, и ее наивная решительность, расшибающаяся о классическую балеринскую невнятицу обращения – всё только подтверждало догадку нашего героя о развитии событий. Увы, не было такого чуда, чтобы хотя бы одной особи удалось сохраниться и спастись от всеобщего мышечно-безмозглого психоза в этом змеином балетном клубке. Имя им – легион, и несть им числа. Здесь ничего нового быть уже не могло.

За окном проплывали однообразные, бесконечно повторяющиеся виды – равнины, селения, снова равнины, снова селения. С минуту помолчали.

– Ну, так выпейте вина, – предложил Свиягин, – и заодно, кстати, давай будем на ты. Так будет проще.

– Спасибо, я не хочу вина, – сказала гостья смущенно.

– Тогда, может, бутерброд с коппой? Или фрукты? Угощайся, – Свиягин протянул ей пакет.

– Нет, спасибо. Я не хочу. Если можно, то я не буду, – добавила она с каким-то непонятым Свиягину извинением в голосе.

– Да я не заставляю! – рассмеялся наш герой, мысленно, однако, недоумевая, что этот отказ от угощений не вписывается в традиционное понимание им балетных визитов.

– Можно, я – вот так? – спросила вдруг гостья, развернувшись вполоборота к Свиягину, на секунду сгруппировавшись и укладывая свои вытянутые в струну ноги на колени к нашему герою. – Ой, простите! – спохватилась вдруг она, быстро убирая ноги и возвращаясь в прежнее сидячее положение, – простите, я не хотела. Как-то само получилось, чисто механически.

– Хм, – сказал Свиягин, – разве я против? Устраивайся, как тебе удобней.

– Спасибо, мне удобно.

– Послушай, – сказал наш герой, – мы еще двух слов с тобой не сказали, а ты меня уже десять раз поблагодарила, от всего отказалась и извинилась неизвестно за что. И почему ты меня продолжаешь называть на вы? – воскликнул он с недоуменно-восторженным любопытством.

– Хорошо, больше не буду, – гостья опустила глаза виновато.

– Что, «не буду»? – переспросил Свиягин.

– Называть на вы.

– Кого? Ну? – старался он ее подбодрить, восхищаясь такой нерешительностью.

– Вас, – было заметно страдание, с которым давался этот диалог гостье. – Вы не обращайте внимания, если надо, я могу быть и... решительной, – пообещала она.

– А почему ты плакала на последнем спектакле? – спросил Свягин, неожиданно вспомнив один из незначительных гастрольных эпизодов. – Ведь это ты плакала?

– На последнем? Ах, да. Я должна была сделать, если помните, такое: девлопе, нога берется на пассе, вынимаю ногу вперед, через пассе-партер нога назад, и стою на второй арабеск...

– Ну и что? Нога не вынулась?

Гостья посмотрела на Свягина ошарашенно.

– Может быть, вы не понимаете того, что я сказала?

– Не понимаю, – согласился Свягин.

– Ну, тогда долго объяснять, – разочарованно произнесла она.

– А почему плакала?

– Мне педагог наш – свои цветы после спектакля подарила.

– Что ж тут плохого? Радоваться нужно.

Гостья опять посмотрела на Свягина ошарашенно.

– Неужели не понимаете?

– Нет.

– Да как же! Это значит, что я станцевала хуже некуда. Чтобы я не заподозрила ее гнев, она его так замаскировала, цветами. Хуже не придумаешь.

– М-м-да, – только и смог выдавить Свягин, – кто бы мог подумать. Впрочем, если это такой серьезный знак, то я тебе искренне сочувствую.

Однако, этот «всплеск гуманизма» остался балериной не оцененным.

– Сочувствуете? – переспросила она, посмотрев на Свягина уже не ошарашенно, но тем не менее, снова с крайним удивлением. – Извините, но сочувствовать на словах, это значит тайно радоваться чужому неудаче. Вот что это значит.

В который раз уже общался Свягин с балетными людьми, и всё никак не мог привыкнуть, постичь этой хромой логики с недействительностью речи и значительностью вещей, безразличных ему – нужно было выворачивать наизнанку все балетные выражения и смыслы, чтобы хоть как-то приблизить их к человеческим.

– Ну, ладно, ладно, – сказал Свягин. – А если я похвалю тебя, скажу: наплой на всё, ты прекрасно станцевала? Молодец, мол?

– Это... то же самое, – растерялась гостья, – одно от другого ничем не отличается! Так хвалить может кто угодно. А у нас и похвала, и сочувствие выражаются совсем иначе. Не на словах. Слова тут абсолютно ничего не значат. Глупо им верить. Пустой звук.

– Плохо дело! – воскликнул Свягин, – если слова только и нужны, чтоб ничего не сказать или замаскировать правду. То есть, по сути, любое доверительное обращение можно заведомо списывать со счетов? А вот если бы мне пришлось в голову сейчас, скажем, понравиться тебе, произвести на тебя впечатление, то что я должен был бы делать или говорить? – стал фантазировать Свягин.

– А почему вы мне хотели бы понравиться? – спросила гостья испуганно.

– Ну как же! – рассмеялся наш герой, – почему нет? Разве это такая уж фантастика? Можно сомневаться по поводу других качеств балерин, но только дурак будет спорить, что вы – существа, так сказать, селекционные, отобранные по яркости внешних данных. И ты не исключение. Разве ты не красива? Не вижу причин, чтоб не хотеть тебе понравиться, – стал настаивать Свягин.

– Не надо об этом, – сказала гостья. – При чем здесь красота? На сцене нужно уметь быть любой, некрасивой тоже.

– Как это, «при чем красота»?! На какой еще такой сцене? – взвился наш герой.

– Разве вы не понимаете, – визитерша опустила глаза, – на какой сцене? На обыкновенной.

Несколько секунд она находилась в видимом замешательстве.

– Извините, можно мне уйти? – неожиданно спросила она, вставая с места и приводя в замешательство Свягина.

– Разве я тебя держу? – отвечал он. – То есть, я хотел сказать, разве это я решаю? Воля, как говорится, твоя.

– Ну, может быть, вы хотите, чтобы я еще с вами посидела?

– Конечно, садись, – сказал Свягин, продолжая недоумевать.

Девушка послушно села на прежнее место и, опустив глаза, сказала:

– Честно говоря, я и сама не хотела бы уходить. Только тогда вот что: давайте поменяемся местами? К тому же, я сижу вам под левую руку.

– Конечно, – спохватился Свягин. – Давай.

Они поменялись местами, гостья села к окну.

– Разминка нужна, движение? – предположил наш герой.

– Да нет. Какое тут может быть движение, в автобусе? – с сожалением произнесла она, окинув взглядом повсеместный балетный «падёж скота», как называл это автобусное явление Свягин. – Хотя, конечно, в движении у нас голова лучше соображает! – попыталась пошутить балерина.

– Стоп, стоп, – забеспокоился Свягин, желая хоть чуть-чуть упорядочить ту кашу, что творилась сейчас и в его голове. – Хорошо, предположим. Тогда как ты обычно поступаешь, если у тебя что-то не ладится? Без философских обобщений, просто, в быту?

Балерина, по извечной манере своего круга уклоняться от личного местоимения, отвечала во множественном числе:

– Когда у нас что-то не получается, надо выйти из репетиционного класса, сделать короткую паузу и сразу снова войти. Тогда и продолжать. Как же еще?

– Хм. Хорош себе быт. Ну да ладно. А если нет возможности выйти? На спектакле, скажем? Если сбой какой-нибудь?

– Очень просто. Мы останавливаемся на секунду, ждем по тактам свою ногу и – дальше. Или, если можно, ногу поменять.

– Спасибо, – сказал Свягин, – за науку. Ты попала в затруднительное положение. Просто я не сразу понял это. Будь как дома. Расскажи мне о себе.

Балерина тяжело вздохнула.

– Ну, что я могу рассказать о себе? Танцуем...

...Время шло, но разговор поразительно не клеился. Гостья попыталась было затронуть темы, по ее вероятному мнению, близкие Свягину, Свягина же они ужасали своей неуместностью. Ни малейших зацепок, ни малейших узелков взаимности не завязывалось между говорившими. Девушка неловко интересовалась,

не устают ли мышцы ног, и в особенности спины, у Свягина от нынешних бесконечных переездов, нравится ли ему хореография Петипа и Вайонена, не знакома ли ему фамилия постановщика такого-то. Порой казалось, что она сама чувствует натужную неестественность этого диалога, но не умеет выправить разговор, следуя привычке общения с себе подобными. Не принимая в расчет странности балетной психологии, Свягин не смог бы ответить на вопрос, что удерживает девушку до сей поры в его обществе. Это была ее непонятная жертва Свягину.

Улыбаясь, балерина спрашивала с наигранным интересом:

– Ну, что там новенького в политике? Как там... наши? Заседают еще?

– М-м... А кто эти «наши», которые заседают?

– Ну, это... Депутаты, что ли.

– Я политикой не интересуюсь, – соврал Свягин, в действительности пропитанный этим ядом, как и всё здоровое, не-балетное народонаселение страны тех лет: ходом реформ, перестановками в верхах, борьбой хасбулатовских «тадепутов» с правительством Гайдара и т. д. Но балетное создание облегченно, как бы найдя в этом спасение для себя, воскликнуло:

– Я, честно говоря, тоже!

– А-а... Вот Эльвира говорит, что у вас много работы на этих гастролях, – продолжала танцовщица, – а я до сих пор не знаю, чем вы занимаетесь.

Свягин посмотрел на балерину с выражением страдания на лице.

– А вы?

– Нет, ну мы появляемся, танцуем. А что делаете вы, когда приходите на спектакль?

О, боги... Вдуматься только: что делает Свягин, когда приходит на спектакль?! Что же он делает, хер ему в дышло, когда не спеша приходит на спектакль? Может, он еще и к началу опаздывает?

Он отвечал:

– Ни о чем серьезном говорить не приходится. Ну, мух от балерин отгоняем, прожектором груши околачиваем. Декорации – они ведь как лес, который всегда тут стоял. Вошел туда – и знай себе прыгай, вышел – и нет его.

– Прыгай?

– Да. А часто и самой прыгать не надо, партнер подымет.

– Ошибаетесь! – улыбнулась гостя.

– Больше балерины разве ошибешься? – с искренним недоумением воскликнул Свягин. – В нынешних автобусных капризах то и дело присутствуют мышцы да суставы, жалобы на их усталость, но почему-то никто тут еще не пожаловался на голову! Ты не находишь это странным?

Балерина посмотрела на него с оттенком иронии.

– Не стыдно обижать убогих? Мы детство и юность положили на танец, отдали балету себя без остатка. А вы так легко, мимоходом, отрицаете всё, чего мы достигли, можно сказать, в муках?

– Отчего ж это мимоходом? Я – сидя отрицаю. Вы спрашиваете, я отвечаю. Вашему брату балерине и не угодишь!

– А что делаете вы сами, когда что-то не ладится? – с любопытством спросила балерина. – Поделитесь опытом. Мне это сейчас, кажется, очень бы не помешало! – рассмеялась она, неожиданно оживляясь. – Мне нравится с вами говорить, потому, что вы искренни. Ругаете нас, зато не фальшивите. Даже вашу... критику слушать отчего-то приятно. Так что вы делаете, если попадаете в трудную ситуацию?

– Конечно, импровизирую! – сказал Свягин.

– Я знаю это слово, но... никогда его, наверное, не употребляла. Оно не разговорное.

– Еще какое разговорное. Это у вас оно не разговорное, потому, что вы, балет, в принципе не знаете импровизации.

– А как вы... импровизируете?

– Как в стихах. Ищу новые, неожиданные повороты.

– И можете выразить в стихе всё, что сами захотите? – то ли с восхищением, то ли с ужасом воскликнула балерина. – То есть, даже то, что вас волнует хоть сию минуту?

– А что меня волнует сию минуту? – переспросил Свягин, как бы внутренне взглядываясь в себя. – Да, вот, хотя бы это:

А скажите, отчего при встрече
Вы кладете ноги мне на плечи?

Гостья прыснула в кулак, смущаясь своего смеха, затем сказала с деланным возмущением:

– Ну, на плечи я вам ноги не забрасывала. Это обыкновенно, балетная привычка. У вас-то, я имею в виду, у *остальных людей*, наверное, всё не так, всё наоборот?

– Это у кого еще – наоборот! – рассмеялся Свягин. – Хотя, нет, у нас тоже женщины так иногда делают. Но это – в чрезвычайных ситуациях!

– Ну, тогда ничего, – облегченно вздохнула гостья.

– Хотите еще стихи? – спросил Свягин.

– Хочу.

– А скажите, эти ваши формы –
След экономической реформы?

Гостья опять рассмеялась.

– Да, – сказала она, – действительно. Кому-то мы можем показаться чересчур худыми. Но ведь о нас и говорят, что мы не женщины, мы – балерины.

– Ну нет, было бы несправедливым лишать вас того последнего, что в вас действительно хорошо, – признался Свягин. – Конечно, вы – женщины! Ну, может быть, разве что... не в полном объеме.

– Да, насчет объема вы правы! – обрадованно согласилась балерина, не понимая, что речь идет об объеме вовсе не физическом, – а в театре говорят, что мы вообще – скелеты! И даже не просто скелеты, а одежные вешалки в виде скелетов!

– Это кто ж такую пакость говорит? – подло возмутился наш герой, сам, разумеется, и запустивший в обращение эту «гиперболу». – Это же изловить недодя такого надо! «Вешалки в виде скелетов»! Мелкота какая! То ли дело Чехов сказал: «Странные люди эти артисты, да и люди ли вообще?» Или современный писатель: «Артисты – наши младшие братья по разуму». Вот это так сказано!

Артистка рассмеялась серебряно.

– Тебя что, это не задевает? – удивился и как бы даже расстроился Свягин.

– Задевает? Как меня может задевать то, что я сама прекрасно знаю? То, что я понимаю, по крайней мере?

– Хм. Достаточно неглупо для балет... кхм, да. А что ты понимаешь: то, что хотели сказать писатели, или...

– Да вас, вас я понимаю! – веселилась гостья.

– Это абсурд! – разгулялся и Свягин. – Балетные люди не могут меня понимать. Или я кончился как поэт? Хм. Надо уйти достойно. Игорь Глебыч, остановите автобус, я выйду! – воскликнул он негромко.

– Свягин, вам переработку уже срезали! – к немалому изумлению нашего героя напомнил «дремлющий» чиновник с переднего кресла.

– Да что ж у него, эквалайзеры в ушах? – буркнул наш герой. – Ну всё, теперь я точно решил – выхожу! До свидания, Маша!

– Побудьте еще! – шепнула собеседница Свягину, смеясь в ладони. – Мне не хотелось бы, чтоб все кончилось сейчас!

– Это еще почему?

– Вы как-то странно на меня действуете. Вы какой-то другой, совсем не такой, как наши. Расскажите мне что-нибудь еще. Можете меня спокойно обижать. Всё равно я, балерина, через пять минут забуду любые обиды, – скромно призналась девушка. – Тем более, что мы сами о себе всё знаем. Давайте поговорим еще. Мне так... странно вас слушать. Только чувствую себя неловко, – потупила она глаза. – Мне бы хотелось, чтобы вы сами меня к себе пригласили.

Свягин посмотрел на гостью внимательно. Маша отвела глаза в сторону, улыбаясь краями губ, но Свягин, прислушиваясь к себе, на секунду почувствовал, что между ними как будто промелькнула некая искра взаимности, их общности. Впрочем... Вполне возможно, что это была только фантазия нашего героя, привыкшего опасно допускать невозможное.

... – Представь себе, – говорил Свягин, – что ученые нашли новую расу людей, которые живут в жерле действующего вулкана, дышат горячими испарениями лавы и от этого давно стали мутантами.

– Это – мы? – предположила балерина.

– Ну конечно, – по-доброму подтвердил Свягин, – кто же еще? Так вот. Весь ученый мир сразу становится перед неразрешимой проблемой. Жизнь этих людей можно наблюдать со стороны, но бестолку – языка их никто не понимает, а с расстояния наблюдается только какое-то шевеление в дыму и отблесках огня. И посылать туда «нашего» человека тоже бесполезно – любой, попавший в эти испарения, сам становится мутантом и... оттуда уже ничего внятного не сообщает. Да и не до того ему: онемел, надел бусы, дышит волшебными испарениями! Пропали и суточные на экспедицию, и сам человек – пропал! И все призывы из внешнего мира для него – «пустой звук».

Балерина во все глаза смотрела на Свягина, слушая его.

– И вот к чему я это веду, – продолжал Свягин, – вот что мне, Маша, представляется странным. Кто бы ни брался говорить об искусстве балета, сторонники его или противники – никто о нем почему-то спокойно и внятно говорить не может. Тут же попадает в цейтнот.

– Я не знаю, что такое цейтнот.

– Ну, неважно. Просто как будто эта тема заколдованная. Как будто нет того нормального языка и тех слов, которыми можно о балете разговаривать. Любой, кто начинает говорить о нем, тут же ударяется в какую-нибудь крайность. Приверженцы вашего искусства с пол-оборота срываются в эмоциональный надрыв, в рваньё на себе рубашки: «тьнь великого Петипа, божественные, неземные, ча-

рующие образы, ошеломляющие, восхитительные прыжки...» – прилагательные, прилагательные, от которых тут же начинается тошнить. Да и наш брат тоже хо-рош. Тоже, не понимая сути, сразу срывается, но в другую крайность – в насмеш-ку, в иронию. Вот, полюбуйся.

Свиягин достал из сетчатого кармана переднего сиденья книгу, открыл ее и, отыскав нужное место, стал читать гостье:

«...Царь строго махнул рукой, и с боков вышли мужчины с голыми ногами и женщины с голыми ногами и стали танцевать все вместе... Одна из девиц, с го-лыми толстыми ногами и худыми руками, отделившись от других, отошла за ку-лисы, поправила корсаж, вышла на середину и стала прыгать и скоро бить одной ногой о другую. ...Потом один мужчина стал в угол. В оркестре заиграли громче в цимбалы и трубы, и один этот мужчина с голыми ногами стал прыгать очень высоко и семенить ногами. ...Потом танцевали еще другие, с голыми ногами, мужчины и женщины, потом...».

Гостья грустно усмехнулась.

– С голыми ногами! – сказала она. – Ну почему же именно так, именно это: «с голыми ногами»!?

– Лев Толстой, однако, – сказал Свиягин, – ничего не попишешь. Классик, к тому же большой разоблачитель... всего.

– А почему все в крайности впадают?

– Потому, что балет – самое противоречивое из всех искусств. Он существует как бы вопреки самому стремлению искусства быть, так сказать, своим в доме, то есть развенчивать миф и делать из него событие как бы лично с нами случившееся. Ты меня понимаешь?

– Понимаю, – отчего-то удивилась балерина сомнениям Свиягина.

– В отношениях со зрителем он – сноб, сам держит дистанцию и иначе суще-ствовать отказывается. «К нам без галстука нельзя!» Занавес, ширмы, кулисы – его любимые вещи, как будто он не в душу рвется, а фокусы показывает. Ну, это понятно, ведь он знает свое самое слабое место, а именно – что он работает на стыке «плотского» с «музыкой». Это его самый грубый шов, где малейшая оп-лошность убивает весь замысел, обращая высокие чувства в посмешище.

Да и сами чувства, которые демонстрирует нам со сцены балет, не интересны человеку с воображением. Это не любовь Джульетты к Ромео, это любовь как та-ковая, абстрактная, нереалистичная, к живым людям не приложимая. Шекспир здесь почти никто. Переоденьте Джульетту в костюм автодиспетчера и назовите ее – Асель, и ничего не изменится, будет всё та же «любовь», из того же бидона, только внешне нелепее.

И мы уже всегда заранее знаем, чего нам ожидать от новой постановки. Нам, по сути, всегда показывают один и тот же балетный спектакль, до боли узнавае-мый. И дело не в нашей проницательности – просто нам всякий раз дают вино разных названий: пейте, чувствуйте, переживайте! И один зритель, хлебнув, го-ворит: «восхитительно, божественно, бесподобно!», а другой: «фу, дрянь ваш на-питок. С голыми ногами!»

Балет к тому же еще и жульничает. Потому что, отказавшись от слова и раз-мышления, и взявшись говорить о самом сокровенном ногами, он, грубо говоря, «и на своем поле не дорабатывает». По своим выразительным средствам он вы-нужден быть лобовым искусством, переть напролом, избегая любого неожидан-ного поворота, любого усложнения и двусмысленности, чтобы «жульничество» не вскрылось и не уронился романтический ореол, – у чистого, мужественного,

влюбленного главного героя, которым нас задолбали в каждом спектакле, не может быть даже новой возлюбленной, ибо слетит весь флер, и зритель скажет об Альберте, увлекшемся после смерти Жизели одной и ее подруг: вот мерзопакостник, потаскун! Сломал нам сказку! Разрушил веру в высокое и чистое! Смешал нам вино с пивом!

– И вы туда же! – рассмеялась танцовщица. – Срываетесь!

– Надеюсь, Толстой мягкий, спружинит! А вот если на вашего ухнешь, то – крышка, костей не соберешь!

– Прекрасная обвинительная речь! А мне отчего-то казалось, что вы разбираетесь в балете. Глупо, конечно. Это было чисто балеринское наивное предположение: если вы поэт, то уж в балете должны разбираться как бы само собой. Это же так просто. Так вы разбираетесь в нем?

– Не очень, – честно поник Свягин.

– Вы себе грубо льстите. Вы в нем – абсолютно не разбираетесь! Балет, это такое... Это чудо, которое...

– Давайте, давайте. Срываетесь скорее ко мне, милая девушка, я уже вас ждался, здесь, у нас, внизу. Толстой тут вас спрашивает. Где, говорит, та девушка с голыми ногами, из-за которой я тут торчу? Щас дам ей взбучку.

– Нет, я осторожно пройду по краю! – рассмеялась гостья. – Наш балет считается лучшим, вы же не будете с этим спорить?

– Конечно. Любая восточная тирания – надежная штука.

– Мне все-таки трудно вас понять так с ходу, с первого раза. Тем более, вы говорите не напрямую. Объясните, – попросила она.

– Просто мне странно, что весь балетный мир, все постановщики и критики до сих пор не могут взять в толк, отчего это нынешний российский балет разваливается. Связывают это с денежными трудностями, а о том, что наступила свобода – забыли. Вот, даже цари перестали на вас ходить, своих друзей маоцзедунов водить и вами, своим идеалом безмолвным, восхищаться.

– Ну, свобода... – танцовщица устало вздохнула. – Какая у нас, в балете, может быть свобода? Да и не нужна нам никакая свобода. Главное – искусство, танец. Кто-то ведь должен хранить традиции. Как в музее. Балет, это на все времена, это надежно. И принц Альберт никогда не предаст свою возлюбленную, потому что – как было, так и будет. И Жизель как была век назад бедной девушкой, так и будет всегда сходить с ума от неразделенной...

– Ага, сейчас будем вместе! – радостно сказал Свягин. – Пополз край обрыва! Ловлю!

Девушка смеялась счастливым смехом.

– Ну? – спросила она через пару секунд.

– Что?

– Надо хотя бы наметкой движение показать.

– Что показать?

– Ну, что вы ловите. Подать знак, а то я не пойму.

Свягин оторопел было по привычке, но вдруг понял, что купился на шутку гостьи; на этот раз она его уже просто разыгрывала, пародируя себя прежнюю.

– Я уже сказал всё словами! – воскликнул он.

– Слова – пустой звук! – смеялась она, будто дразня.

Свягин внимательно посмотрел на танцовщицу. И опять по той пустячной малости, что была понята говорящими без слов, ему на секунду, как и прежде, почудилась пробежавшая меж ними искра некой взаимности, обоюдного при-

ятия, промельк чего-то нового и необычного. Как будто это пустячное понимание устанавливало меж ними связь, неведомую всем прочим и бывшею только их личной тайной, которая отделяет их заговорщицким образом от остальных обитателей автобуса.

Но вдруг девушка, вмиг как бы собравшись внутренне, сказала:

– Ну, ладно. Я пойду, наверное. Спасибо вам за компанию.

– Нужно «сменить ногу»? – предположил Свягин.

– Да нет, спасибо, действительно пойду. У меня же в этом автобусе есть свое место.

– Через минуту, – спросил Свягин, – придешь? Через... пять?

Гостья улыбнулась с сожалением и ничего не ответила. Она легко встала и, поправив на ходу волосы, собрав их в пучок обеими руками назад, за затылок, не спеша стала пробираться прежним манером к своему креслу. К ней тут же подошел кто-то из балетных юношей, что-то сказал, тревожно улыбаясь – она улыбкой ему отвечала. За спиной Свягина посапывал пьяный Фанерыч, по-братски устроившийся на плече Эльвиры, тоже спящей, впереди опять видел Свягин только затылки и распластавшиеся в проходе салона тела в спортивных костюмах.

«Да что же это за загадочный народ? – снова заклинило Свягина, – что это за балетные фокусы?» Он не мог постичь такой хореографии. Чувство необычности происходящего явно висело в воздухе, но никаких сравнений с чем-нибудь похожим Свягин отыскать не мог. Это была – не Эльвира, это был – не приход Эльвиры, тревоги на лице балетного юноши не было прежде; что это всё могло значить? У них с балериной вышел какой-то *человеческий* разговор, а она сбежала едва ли не на самом интересном месте. Как держать себя с этими людьми, о чем говорить, чтобы они не уходили с полуфразы? Свягин не просто ничего не понимал – он, сожалея об оборванной взаимности диалога, как-то агрессивно не понимал *ни черта*.

Так прошло полчаса. Автобус продолжал свое движение. Балерина, изредка поднимаясь из своего кресла для разминки и судя по ее виду уже начисто забыв о Свягине, улыбалась, шепталась с очередным балетным «проходимцем» (то есть проходящим мимо и лениво стопорящимся чуть не у каждого по счету кресла для пустых бесед), показывая ему какие-то движения руками. Всё это уже не имело никакого отношения к ней той, какой она была еще меньше часа назад. Вдруг Свягин увидел боковым зрением, что танцовщица на него смотрит. Он поймал ее взгляд и с удивлением обнаружил, что она смутилась, чувствуя себя пойманной. Свягин продолжал смотреть в ее сторону. Тогда она, спешно растолковав что-то балетному компаньону, снова, как притянутая магнитом, стала пробираться к Свягину.

– Вы не сердитесь на то, что я обещала... но все-таки пришла? – спросила она.

Свягин только руками развел.

– То есть, что я говорю! Боже! – воскликнула танцовщица. – Полчаса без вашего общества, и снова начинаю заговариваться! – улыбнулась она. – Я хотела сказать, что вроде бы попрощалась с вами, а теперь опять пришла испытывать ваше терпение.

– Я терплю тебя легко, – сказал Свягин, – если не сказать, с удовольствием. Садись. Я – честно.

– Можете не говорить, я вижу.

Гостья скинула шлепанцы, снова забралась с ногами в кресло рядом и сказала на выдохе, как бы в продолжение своего прервавшегося движения:

– Нет, все-таки не могу. Не выношу общества балетных людей. К вам тянет. Какой-то разлад во мне сегодня. Раздрай, заполошенность!

Свиягин, думавший было, что все сюрпризы нынешнего дня закончились, опять, в который раз, изумился. А девушка, как бы стосковавшись по прежнему разговору со Свиягиным, продолжала на одном дыхании:

– В какую-то пустоту попадаю, когда с *нашими* приходится общаться. Не подумайте, я никого не ругаю, но... Я сегодня сделала для себя странное открытие. Оказывается, без танца тоже может быть интересно. Удивительное ощущение. Ненадолго, наверное? Но к своим попала, и не вытерпела, сбежала. Раз танца нет, так и там – ничего нет. Никакой импровизации, сплошной цейтнот! – лукаво посмотрела она на Свиягина.

– Откуда... ты эти слова знаешь?! – с восхищенным недоумением спросил Свиягин, не веря своим ушам, – ты же... их не знаешь и ими не пользуешься?

– Теперь знаю и пользуюсь. Мало ли какими словами я не пользовалась раньше? Но вы забыли о балеринской памяти, между прочим, тоже, как и ноги, тренированной. Как же иначе можно запомнить такое море музыки, движений и переходов? Голова балерины, это... такая кладовая! Всё, что будет нужно для роли, можно достать оттуда.

– Ты мне всё больше нравишься, – сказал Свиягин.

– Слова – пустой звук! – рассмеялась танцовщица.

...Бывает так, что мы, упустив из виду развитие какого-нибудь события или явления, обнаруживаем вдруг конечный результат, изумляющий нас тем более, чем более он контрастен своему началу. Так и Свиягин сейчас не мог бы сказать, в какой момент времени произошла эта метаморфоза: определение «балерина», что прежде так удачно охватывало любую из балетных девушек, почему-то оказывалось тесноватым именно для его нынешней гостьи – и чем дальше, тем больше!

Определение есть ограничение. Несомненно, что определение берет главное, но не учитывает нюансов.

А иногда – и главное упускает.

5.

Все перемены внешности, связанные с характером актерской работы, были для балерин делом, разумеется, обычным. Суетливая полуголая лебедь, что, ежась от холода, переступала по сцене в пуантах как в лапах, и «грелась» в кулисах, старательно, заученно подбрасывая коленки к подбородку (и подобрав кверху балетную пачку руками), – после антракта оборачивалась царицей, блистающей парчой, с царственной походкой и надменным взглядом, с несоразмерно фонарям и тряпкам величественной статью, – и было не узнать, и страшно было окликнуть, чтобы не ошибиться! Меняя бесчисленное множество костюмов – пачки, платья, кринолины, накидки, юбки, шали, шляпы да вуали, – меняя цвет волос, парики и прически, меняя «боевую раскраску лица», – артистки всякий раз становились иными, и почти всегда полной противоположностью предыдущему образу. Чем-то вроде игры по ходу работы было для Свиягина угадывание человека, скрывающегося под новой личиной. Образ же самого человека, его сущ-

ность никак не могли зафиксироваться за этими бесконечными трансформациями, этой перетекающей из одного в другое маскировкой подлинного лица.

Но сейчас Свягина поразило – не притронувшись ни к чему, что могло бы изменить ее внешность, гостя неведомым образом преобразилась – рядом со Свягиным сидела уже совсем другая девушка. Куда-то исчез, будто и не бывало, проницаемый, по-домашнему простой, стандартный во всеобщей автобусной расслабленности, образ. Длинные волосы, схваченные на лбу черной костяной подковкой, всё так же рассыпались по плечам, но уже не по привычной обязательности, а подчеркивая, подавая всю неповторимость лица, в котором была и женственность и какая-то детскость одновременно, броский изгиб его линий, несомненность всего и без того выигрышного. Глаза – из округло-наивных сделались пристально-ироничными, по-джокондовски как бы добродушно сознающими свою необъяснимость. Красота лица заострилась, сделалась более контрастной. Гостя не могла сидеть бездвижно целую вечность, и, когда она поворачивалась, подыскивая новое удобное положение, забиралась ли в кресло с ногами, или снова менялась креслами со Свягиным, – то и в этой произвольности движений и кажущейся разбросанности жестов проглядывало удивительно гармоничное единство целого, соотношение всех частей тела единой пластикой, как будто бы руки и ноги безусловно помнили друг о друге и понимали друг друга лучше хозяйки, без ее вмешательства зная, где задержаться и в какое время догнать друг друга. И каждый легкий поворот головы, и разворот хрупкого корпуса, и каждая линия шеи, удлинённой стремительной артерией, каждая малость движения острых, перетекающих под кожей лопаток на открытой спине – всё стало более значительным и уместным. Сыграть красоту было невозможно. Острота образа походила на стальное оружие.

Свягин внутренне восхитился.

6.

На остановке Свягин в числе первых вышел из задней двери автобуса, подав балерине руку. Маша, подав свою, двинулась было, но вдруг замерла на миг и, быстро сменив ногу, вышла из автобуса характерным балетным движением – носок вытянув вперед, сделав падающий шаг, и на вытянутую ногу пружинисто приземлившись.

Это было изящно сделано мимоходом. После долгого автобусного бездействия тела балерина проделала всё это как-то восторженно, даже из автобуса выходя по канонам танцевальной гармонии с партнером. Шедшая следом заспанная Эльвира Чулкова сошла было со ступенек сама, но в последний момент была поддержана выбежавшим из толпы, вновь подозрительно резвым, Фанерычем.

Свягин смотрел на танцовщицу, устремленную вперед, прямую, ступающую с неизменным балетным разворотом стопы, ступающую даже в летних шлепанцах так, что носок вытягивался почти в одну линию с линией ноги.

– Маша! – Свягин догнал ее, решительно окликнув.

Но как это часто случается, то легкое и хрупкое, что затеплилось было в их уединённом общении, попало в волну прежнего, вновь со всею силой накатившего, коллективного быта. Оно рассыпалось и растворилось в этой никуда не девавшейся суматохе, в толкотне и бестолковщине. Вернулись и снова вступили в силу отмененные на время их уединения законы. Вернулось то, что только дремало и никуда деваться не собиралось – то, частью чего Маша всегда числилась.

Свиягин с Годуновой безо всякого на то основания находились в поле всеобщего зрения.

Солнце жарило в полную силу. Часть обитателей автобуса, удивленно оглядывая нелепую парочку, уже потянулась небольшими группами на разведку местности, старательно держась в тени придорожных построек («Кто в «Автогриль», сюда, к нам!»). – «А мы в сортир!»). – «Я с вами!»). И всё это – и нещадно палящее солнце, и волна маслянистого жара, и новое оживление от полученной передышки, и насущность и определенность планов окружающих людей – всё это как будто подразумевало и подчеркивало незначительность вещей призрачного происхождения.

– Может быть... выпьем кофе? Или съедим чего-нибудь? – начал после паузы Свиягин.

Танцовщица улыбнулась.

– Нет, нет, спасибо. Мне нужно к своим. Меня друзья заждались, это уже становится неприличным с моей стороны! – улыбнулась она.

– Мы говорили о какой-то ерунде, о балете! – спохватился Свиягин, – а я бы хотел говорить с тобой совсем о другом. Тебе же не нужно сейчас идти умирать на сцену. И друзья твои никуда не денутся еще долго. Составь мне компанию.

– Спасибо, Сережа. Но я вижу сама, что увлеклась. Простите. У меня есть оправдание: всё новое касается меня больше, чем вас. Завтра опять работа – классы, репетиции... а я должна отчетливо понимать, что я делаю. Без импровизаций. С вами я за себя не ручаюсь! – рассмеялась она. – Я уже и так попала в вашу волну.

– Я не говорю так прямо о планах на будущее! – возразил Свиягин, – но кофе мы можем сейчас выпить?

– Я не пью кофе. Я не пью вина. Я не ем ничего мучного, сладкого, я вообще не ем ничего без оглядки! Я завтра опять начинаю жить по расписанию. Я должна быть готова, я должна быть в балетном «материале», черт бы его побрал! – воскликнула балерина едва не с отчаяньем, удивляя Свиягина вроде бы не свойственной ей экспрессией, но напоминая с запозданием, что экспрессия – безусловно одно из главных качеств любой танцовщицы, без которого их не бывает.

– А скажи, Маша, – стал наступать Свиягин, – ведь твой приход и твоё нежелание общаться с балетными соратниками исходят скорее от какой-то твоей собственной замкнутости, трудности ли характера, чем от желания общаться именно со мной?

Девушка провела ладонью по лбу, отводя прядь волос, как будто раздумывала, стоит ли ей отвечать.

– Нет, Сережа, – сказала она. – Я давно хотела с вами познакомиться, но никак не могла найти повод.

– Так я тебя разочаровал?

– Нет. Но для меня вышло хуже, чем я думала. Поэтому лучше сразу оставить всё так, как есть! – добавила она, как бы пугаясь собственных слов, – Мы, балерины... – и она опять начала «старую балеринскую песню о главном», становясь той прежней артисткой, какой была в первые минуты своего утреннего прихода к Свиягину.

...И, помахав на прощанье, быстро пошла в сторону одной из своих балетных компаний, все так же шумящих, толкающихся, и уже в массовом порядке жующих какую-то, на взгляд Свиягина, белиберду, «мусор» – печенья, шоколадки, чипсы.

... – Ты куда сейчас топаешь? – возник из полуденного жара звукорежиссер Шура. – Айда в «Автогриль», влупим по ледяному пиву! Стоянка минут сорок, пока водилы, Марио с Джузеппой, брюхи не набьют макаронами!

Он посмотрел вслед удаляющейся Маше.

– А ничего! А ноги-то, ноги! Хороши ноги! Как зовут?

– Не знаю! – злобно соврал Свиягин второй раз за день, – и тебе знать незачем!

– Ути-пути, какие мы строгие! – замурлыкал Фанерыч. – Однако, не до женщин! Женщины, это отвлекающий момент, более того, женщины, это зло! Я тут к Эльвире пытался подкатиться, да всё бестолку, винище только жрет, как прорва, переводит ценный продукт! Да и что проку в женщинах? Несколько минут удовольствия, и всё. Иными словами, женщины, это не пиво. Итак, к пиву!

Через минуту они стояли уже в прозрачном кубе автогриля, у стойки, наслаждаясь прохладой кондиционера. Шура говорил бармену, будто декламировал:

– А отчини-ка нам, дуся, две биро, две мартаделла!

– Да у нас на переезд не осталось ни капли вина, а ты последние деньги трапишь на жратву! Имей совесть, дружище! – пытался шутить Свиягин, думая о другом.

– Не бойсь насчет денег! – дурачился Шура. – Будет новый день, будут и новые деньги! Зайдем, найдем на дороге, бутылки пустые сдадим! Фонограмму мою «Лебединого озера» пропьем! У меня есть ощущение, что деньги еще будут!

– Биро пикколо? – интересовался бармен.

– Я т-те щас дам, «пикколо»! – вспоминал Шура что-то обидное. – Единственный мой! Нам – грандо!

Местность, где остановились передохнуть путешественники, представляла собой долину, окруженную со всех сторон горами, пересеченную, по цепи ближних, автобаном. Вершина горы, у подножия которой расположился стеклянный «Автогриль», терялась в белых кучевых облаках.

Но уже из-за дальних гор, с юга, по всему горизонту надвигались грозовые облака. Даль уже погрохатывала – и сквозь стекло было слышно, и отдаленные поначалу раскаты доносились все отчетливей и чаще. И ощущение становилось всё тревожней, будто в этой неотвратимости приближения грозы содержалось какое-то намерение, будто проглядывала некая одушевленная осознанность цели. И движение машин уже казалось более стремительным и поспешным, и поспешность их, пуль разлетающихся по автобану в противоположных направлениях, будто была связана с опасением попасть в грозу именно тут, в этом месте, где наши путешественники бросили якорь.

– Гулять так гулять! – волновался Шура и, обращаясь к бармену, требовал еще:

– Две биро, две коппа!

– Биро пикколо? – заученно вопрошал бармен, с неопределенным выражением лица, но с тою же общей, еле уловимой внутренней тревогой всматриваясь в надвигающуюся грозу.

– За кого ж ты меня принимаешь! – кипятился звукорежиссер. – Онли, онли грандо!

– «Полисиа страдале!» – не закрывал он рот, читая вслух дорожные транспаранты, взлохмаченный и с «уно биро» в руках. – Уж страдали, так страдали! Вы бы у нас, голубы мои, так пострадали!

Свиягин смотрел в сторону толпы, собравшейся на краю ближнего ущелья, в сторону балетной братии, переобезьянивающей друг друга улюлюканьем в пропасть и «неуважительным» бросанием туда булыжников. Маша прохаживалась там, среди своих, кто-то ее приобнял за плечи, она хохотала.

Среди бела дня становилось темнее, и становилось еще тревожнее оттого, что в охватившем все сумраке, на общем потемневшем фоне неба – еще оставался на земле клочок ослепительного, залитого солнцем ближнего пространства.

И ливень ударил стеной, внезапно, – как это бывает в соседстве гор, и толпа бросилась врассыпную к ближайшим укрытиям, и молния сверкнула совсем неподалеку, рассыпавшись на миллионы огненных бусин, и гром, почти от нее не отставая, сухо рванул со всей безудержностью стихии.

И как будто все посетители бара вздохнули свободней. Скучающий без дела бармен подносил уже третью спичку к огромной декоративной газовой лампе, бывшей тут, видимо, для вечерних нужд, но теперь барахлившей – неравномерно вырывающийся газовый поток сбивал пламя спички.

Горючий, легко воспламеняющийся газ не желал зажигаться от огня, гасил его. И лил дождь за стеклом, а огонь молнии рождался из ничего, из невидимых глазу потоков, полей, напряжений, возмущений и полярности зарядов.

Глава 3. Как трудно двигаться дальше

1.

Работа продолжалась. Всё шло по-залаженному, повторяясь изо дня в день. Монтировка, репетиция, спектакль, переезд, – монтировка, репетиция... У попа была собака, *one-trick pony*, замкнутый круг в однообразной череде будней. На день-два заруливали на территорию Франции, чтобы дать спектакль там, возвращались – и вновь мелькали, как в старых наших кинофильмах, щиты и указатели с названиями итальянских городов, – городов, от которых в памяти и оставались одни эти щиты и указатели. Самым желанным был самый большой щит, с названием, без цифр километража – он означал приезд, душ и малый отдых. И еще желанней был щит, перечеркнутый красной полосой, означавший, что еще один город позади, и дом – на один город ближе.

Иногда всем колхозом въезжали на ненавистной колыхаге «Сильвестри» прямо на паром и выныривали с вечерним спектаклем то на Корсике, то в «сердце сицилийской мафии» Палермо, а то, бросив трейлер на берегу, перегружали ящики с аппаратурой и тряпками на моторизованные гондолы и двигали напрямик через залив в Венецию, на площадь Сан-Марко, превращаемую на одну ночь в гигантский партер с квадратиком сцены, где с наступлением темноты весь мир проваливался в преисподнюю, и гремела музыка Чайковского (невидимый Фанерыч запускал свою фонограмму), и каре зданий, взявших партер площади в обхват, угадывалось только по цепочке горящих окон кафе, откуда посетители с бокалами в руках тоже оцепенело смотрели на танцовщиц в бегущих за ними лучах, где башенные часы били невпопад, сбивая с ритма танцующих, а там снова – погрузки под утро и суточные переезды (затылки, указатели, спортивные костюмы,

затылки), и ночевки в автобусе, и тихая утренняя коллективная молитва, чтобы очередной день, едва начавшийся, скорее закончился.

Общее сознание уже перевалило некий рубеж, вышло из той области, где еще действовали законы притяжения дома, и бодрость, и избыток энергии, со времен дома сохраняемые. Теперь же общим состоянием стало некоторое легкое оупение, охлаждение интереса к происходящему, то безвольное чувство беспросветности, где упование только на механическое истечение времени.

Но от коллектива не укрылось, что Годунова со Свягиным что-то уж очень зачастили бывать вместе.

2.

Поначалу они приятельствовали. Здоровались, встречаясь на сцене перед спектаклем, перебрасывались шутливыми замечаниями и улыбались друг другу, как улыбаются некоторое время не видевшиеся знакомые. На переездах Свягин помогал иногда Маше донести ее чемодан из отеля до багажного отсека автобуса. Извиняющаяся Машина улыбка предназначалась тогда Свягину, ибо надо знать, дорогой читатель, что такое балеринские чемоданы!

– О, симпатик, ди примо картелло! – кивал на Машу, готовясь принять ее чемодан, водитель-амбал. Маша улыбалась и ему.

– Гаврило пизанский, не завались с гх-р-рузом! – хрипя, отдавал ему чемодан наш герой.

Некоторое время прошло, и Свягин потерял то верное ощущение смысла Машиного прихода и тех слов, что были ею сказаны. Вся их тогдашняя прозрачность потонула и затерялась в неразберихе приписываемых им новых смыслов. «Ганг, твои воды замутились».

Конечно, Свягину хотелось продолжить их так необычно начавшееся знакомство. Но целый ворох сомнений уже одолевал нашего героя – необычное ли? Знакомство ли? Ибо судить простыми человеческими мерками то, что происходило у них с Машей после автобусного разговора, представлялось не только невозможным, но и абсурдным.

Всякое поведение принято судить по законам и в рамках тех обстоятельств, в которых оно себя проявляет. Есть русская деревня с уютными бревенчатыми задворками, ближней рощей и гулким безлюдным пространством. И есть ревущие автобаны, палящее солнце и шумная толпа вокруг, с ее представлениями о своей роли и о роли любого человека в ней. Иными словами, Свягин прекрасно понимал, с какими препятствиями ему предстоит столкнуться прежде всего, и в каких обстоятельствах могло бы проходить это «продолжение их знакомства».

Знал также Свягин, по какому разряду записываются в артистических кругах пары, замеченные в стороне от сообщества с постоянством, превышающим число два. Какие чудовищные трансформации претерпевают в балетных трактовках самые невинные слова и поступки. Сказать проще: у самих артистов такие вещи, как ухаживанье, выяснение отношений и т. д. – будто начисто отсутствовали, но внезапное появление новой пары на людях уже не допускало разночтений. Проходные, сквозные, одноразовые связи потому и оставались вне критики и обсуждений, что не приводили к демонстративному совместному появлению в обществе. О, балетные причуды – связь как будто была средством, а демонстрация стабильности в этом море разброда – целью! Свягин не мог не брать в расчет, что в отсутствие «бревенчатых задворков» и «пустых рощ» первая же Машина реакция на свиягинские потуги будет – внешней, ролевой, по невозможности им

обоим прятаться, по безусловной необходимости учитывать традиционные общественные представления о новом «временно стабильном союзе».

Разумеется, это было не главным, разумеется. Свиягина заботила, конечно же, реакция Маши на это обстоятельство – внутренняя. Вопреки Шуриному обычному утверждению, что всякая женщина мечтает быть атакованной и завоеванной (что, впрочем, не помешало его собственной атаке успешно провалиться), Свиягин слишком хорошо понимал, что – *смотря кем* мечтает быть атакована женщина.

Свиягин никогда не был сердцеедом, но все его знакомства с женщинами носили характер той непосредственной, необременительной естественности, которая сама ведет навстречу друг другу. Ничего не зная о каких-то «методах обхождения», принятых у людей, он умел слушать, что ему говорят, и принимать или не принимать то, что ему предлагают обстоятельства, – он не был наглецом или нахрапистым малым. Он и не хотел быть наглецом – с ходу, с «треском и фейерверком» завоеванная женщина никогда не вызывала у него интереса, а «своих» всегда само собой увлекала эта свиягинская ненормальность, эта парадоксальность мысли и умение вывернуть наизнанку любую ситуацию. «Сережа! Муж!» – в испуге кричала ему хозяйка чужого дома. «Не бойся, я его не трону!» – кричал Свиягин, выпрыгивая в окно и тем надолго оставаясь в «благодарной памяти современницы».

Происходящее же теперь – вызывало в нем большие сомнения, выламываясь из всего предыдущего опыта. Это было ни на что не похоже! Свиягин не мог ответить себе даже на простой вопрос: «своя» ли была Маша хоть в чем-нибудь, при тех неслыханных различиях между ними, принадлежности их к разным миропорядкам. Казалось бы: и тогдашнюю ее заинтересованность, и увлеченность беседой, и неглупые Машины доводы, и некое подобие их взаимного узнавания – так же невозможно было сыграть, как невозможно сыграть красоту, а между тем всё опять погружалось в темноту неопределенности и неузнавания. Больше прочего Свиягина смущало и вышибало из колеи то, что он теперь совсем не чувствовал проявлений хоть какой-нибудь взаимности с Машиной стороны, пусть бы скрываемой, но обычно угадываемой, свойственной всякой нормальной женской особи, когда б она желала дать повод к первому шагу.

Маша же в его сторону и не смотрела. Они стояли в кулисах плечом к плечу, но Маша так лихорадочно была занята обсуждением деталей предстоящего выхода с партнером, что могло показаться, будто они со Свиягиным и вовсе не знакомы. Более того. Свиягину мерещилось даже, что на лице балерины читалось облегчение, если при встрече с нашим героем кто-нибудь третий вклинивался между ними.

На переездах всеми любимой группой в автобусе была «*Dire Straits*», кассетная запись которой звучала в салоне почти беспрестанно. Отношения Свиягина и Маши как нельзя более походили на манеру этой группы – гитара или клавиши начинали плавно, обещающе, тема завязывалась, крепла, музыка разгонялась, росла вширь, в объем, но тут же всё обрывалось на полном ходу, напоминая окончание пьесы, чтобы опять, потихонечку, с нуля, след в след за сыгранным, начинать раскачиваться по новой. И название группы было символичным для Свиягина, означающее безвыходное положение или до предела стесненные обстоятельства.

Безвыходное положение! Стесненные обстоятельства! Черт возьми, что он мог предпринять такого, чего еще не предпринимал, на какой пролом мог переть прилюдно? Стоило ему отозвать Машу на остановке, как тут же слышалось:

– Годунова, вот ты где! Я тебя обыскала! Ты чего не идешь?

– Годунова, ты что, не слышала? Девушек зовут разводиться на второй акт, на лебедей! – звучало в театре в тот самый момент, когда Свягин решительно подходил к Маше.

Они были всё время на людях – жующих, пристающих с вопросами, разминающихся, ждущих и не уходящих, смотрящих, что ты ешь и слушающих, что ты говоришь, дышащих в затылок и радостно присосеживающихся к любому завязавшемуся разговору. И ревнивец Майданов, первым заметивший свиягинские потуги, дразня Свягина, выныривал в самом неподходящем месте драмы, обнимая Машу или прося ее показать какое-то интересующее его движение.

«Я его убью!» – думал Свягин. Объятия ничего не значили для балетных, но когда Свягин однажды, пропуская Машу вперед, приобнял ее, она посмотрела на него с испугом, и нашему Казанове пришлось тут же сводить всё к шутке.

Безвыходное положение! Выдерните из чужой семьи, толпой прогуливающейся, одну из девушек! Где каждый смотрит на себя глазами другого! Выдерните не для того, чтобы сказать пару маловразумительных слов на ходу, а чтобы забрать ее с собой! Стесненные обстоятельства!

Но искусство не было бы искусством, когда б артисты оставались в едином лице, а границы были четко определены: вот, это – мы любим, а вот это – нет. Когда б привязанность просматривалась за невольным смущением, бесконтрольным, прорвавшимся вздохом или неловким, выдающим скрытое чувство, жестом. Быть таким, естественным, для артиста не означает ли: плохо уметь играть? Но что это? – вдруг ни с того ни с сего случилось как бы прямо противоположное этому предположению – Свягин ловил на себе Машин взгляд, да еще недоуменный, да еще как будто расстроенный, да еще будто чего-то от него ожидающий?!

Окрыленный тогда, он пытался тайком выудить Машу из ее номера на позднюю вечернюю прогулку, но видел лишь круглые от удивления глаза:

– Сережа, что с тобой? Помилосердствуй, переезд-то был... Завтра с утра класс, потом прогон целиком, а вечером мне соло танцевать! Ты что, не понимаешь? Мы же – балет!

«Мы же – балет!» Нам чуждо всё человеческое! Тут ходят другими путями!

...Впрочем, и «учет общественного мнения», и неумное желание Маши сохранять каждую крупицу сил для работы – всё это были преграды и барьеры внешние, для Машиного «движения сердца», случись бы таковое, значения б не имевшие. Свягин же недоумевал: почему никаких зацепок больше не происходит между ними, почему каждая встреча, оставаясь без развития, походит на предыдущую?

А между тем Свягин мог бы поклясться, что Маша даже внешне изменилась со времени их первой встречи. И это было не субъективное восприятие Свягина, выделяющего Машу из числа прочих, – наш герой отчетливо видел, что это заметили и все остальные: Маше явно в новинку было это внезапное обилие нахлынувшего на нее внимания, обращений, приглашений, предложений услуг, похвал. Чем это было вызвано? Находилось в связи – с чем? И почему всё продолжало оставаться на своих местах?

...Но надобно было знать и Свягина! Надо было знать этого иезуита, этого пастуха, прячущегося от стада, этого духовного лидера подполья, о котором подполье не подозревает, этого виртуоза положений, этого маэстро выворачивания и обращения всего – в полную себе противоположность! Искусство не было бы искусством, когда бы и поэты оставались в едином лице, а границы их поступков были четко определены. Ибо надо знать, чем отвечает поэт на невнятицу, стандарт и рутину «так заведенного».

«Хорошо же, волки балетные! – взрывался, уже замышляя свой «проход», Свягин. – Одна темнит, юлит, жуёт какие-то тряпки, что ей нужно выспаться перед работой, другие – стоят на подхвате с растопыренными ушами, смотрят во все глаза и «ждут новостей»! У вас принято рано ложиться спать и не принято, «времени не трать даром», просто так прогуливаться по вечерам вдвоем? Принято однозначно воспринимать подобные вещи? Одним – бормотать невнятицу, а другим – обмусоливать кости добрым людям? Так я вам покажу и традицию, и невинность, и внятность!»

– Фа-а-анерыч! – гремел он в позднюю пору у открытого окна, уперев руки в бока и обращаясь к сидящему тут же, рядом, другу. – А ну-к, сынок, свяжи-ка мне три простыни жгутом, попрочней, да потуже!

– Дяденька, а на что тебе простыни? – наивно вопрошал Фанерыч-агнец, живо возникая рядом и высовываясь из окна.

– А это я сейчас балеринам знаки внимания оказывать буду! Что же мне, сынок, в меланхолию впадать, коль у них времени лишнего не бывает? Вяжи к кровати морским... – нет, японским! – узлом!

Эти вопли раскатывались по всему пространству внутреннего гостиничного двора. Балетные люди ни с чем подобным еще не сталкивались. Это был какой-то чудовищный «римейк» Шекспира, сентенции из Островского и раннего Свягина.

– Да ты ж, дяденька, всех балерин щас нам распугаешь! – кричал Фанерыч, взявсь с узлами и с грохотом передвигая кровать к окну.

– Невинно, сынок! Я буду оказывать – невинно! – орал Свягин, уже лежа животом на подоконнике.

– А, может, ну их, балерин, а? Может, лучше к нормальным женщинам, к нашим, так сказать, человеческим?! Женщины все-таки, а не, я извиняюсь, балерины!

– Не-е-ет, сынок! – продолжал надрываться Свягин. – Что-п ты понимал в балеринах! Балерина, она есть настоящая женщина уже по определению! В ней уже присутствует сполна всё, что в обычной женщине надо еще высматривать и выискивать, женственность, я имею в виду! Обычная женщина – это балерина для бедных! – горланил Свягин уже в запале. – Обычная женщина – это очень плохая балерина!

«Полезешь все-таки?» – шептал Шура. Свягин спускался, отталкиваясь локтями и коленками от стены, всякая опора и твердь были бесконечно далеко внизу. К легкому холодку под сердцем примешивалась бурная тарзанья радость. «Фанерыч, подстрахуй!» – кричал он наверх. «От подстрахуя слышу!» – столь же отчаянно-радостно отвечал верный Меркуцио во тьму. Этажом ниже, в освещенном окне, Игорь Глебович аккуратно пил чай со «Сникерсом» вприкуску. «Знаю, знаю, уже переработку срезали! – бурчал на ходу Свягин. – Простыню только не срежьте...» И добавлял неслышно: «...суки!». Наконец, он оказывался у цели, напротив Машиного окна.

– Люди добрые! – заводил он, – вы нас, пожалуйста, извините э-э... за то, что к вам обращаемся! Сами мы не местные, живем тут на вокзале уже две недели, несколько семей... С нами дедушка парализованный, ходить не может, и очень хочет есть... А мы вот тут, э-э, немножко лазим! Мы немножко это... бэтманы! Бэтманы мы, но очень такие... ненавязчивые, скромные!

– У тебя всё носит характер эпатажа, абсурда! – изумлялась Маша. – Что ты делаешь?! Зачем ты это?

– Щ-щас как ухну вниз, будет и эпатаж и, я извиняюсь, абсурд! – говорил Свиягин. – Случайность от меня будет, неудачная попытка «ледяное сердце растопить»!

– Хорош бы ты был театральный спец, если б боялся высоты или неправильно завязал узел!

– Ну вот, хоть знаешь, чем я на спектаклях занимаюсь! Иди быстрее ко мне, а все определения этому – придумаем потом!

– Сережа! Ни я к тебе не пойду, ни ты сюда не войдешь. Давай всё это закончим.

– Сережа, иди лучше ко мне! – раздавались девические голоса из соседних окон. – Можешь по лестнице.

– Годунова, ты что это упрямисься? Ты что, ненормальная? – раздавалось еще.

– Это он ненормальный! – растерянно восклицала Маша.

– Не-е-ет! Он-то как раз нормальный. А вот ты – дура!

...И разговоров потом – было. «Во – отношения у них! С ума сойти можно! Оба ведут себя как-то странно. Короче, я ничего не понимаю!» – говорили все.

Желание разгадать Машу стало со временем для Свиягина волнующе-навязчивой идеей, неким смыслом его ежедневных выходов на работу, посадок в автобус, бесцельных, казалось бы, прохаживаний по сцене и театральным коридорам, – стало мерой наполненности всякого прошедшего дня содержанием. У него появилась если и не привязанность к самой Маше, то привязанность к ее образу, ее чертам, манерам, особенностям движения. У него появился вкус к Маше, пристальность внимания, дающая видимость острых отличий ее от всех соплеменниц. Свиягин не замечал, как тем самым отрезал себе все пути к возвращению назад, отрезал себе отныне возможность *уснуть спокойно*.

Чем чаще он возвращался мыслью к тому памяtnому автобусному разговору, тем неотвязней становилось убеждение, что для продолжения их с Машей знакомства – причин вовсе и не было, что случай по природе своей был внелогичный и уникальный, для повторения требующий воспроизведения всех мельчайших составляющих в той же уникальной последовательности: с общим дремотным состоянием автобуса, легким налетом тайны, пейзажем и пьяным Фанерычем. Что и продолжаться это могло – только до ближайшей остановки. Что есть знакомства, по ходу дела переходящие в потери.

Его охватывало чувство бесцельности затеи, ощущение тупика, невозможности повлиять на обстоятельства. «Не желаю разгадывать эти балетные ребусы! – собирал себя Свиягин в кулак умственными построениями. – Гори все огнем, забыть обо всем тут же! Этот клубок никогда не будет распутан, они не ценят вещи, сделанные так ярко, что другими женщинами бы уже не забылись, они невоспитанны, они не отвечают на то, на что просто неловко уже как-нибудь не отвечать!»

И он продолжал тайком поглядывать на Машу.

Ах, Свягин, гроза интеллектуалок, наивный Казанова! Кто знает, кто проследит, какая работа происходит в женском сердце от одного посеянного слова, взгляда, а иногда – вообще без всяких видимых причин! Для одних не существует ничего, что находится дальше расстояния вытянутой руки, другие могут за тысячу верст услышать твое скрытое чувство – кто проследит эти пути? Кто в этом разумеет?

Но начал замечать наш герой, что сталкивается с Машей чаще, чем прежде, до их знакомства, чаще, чем с кем-либо еще. Всё перед спектаклем было движение и водоворот, но у него оставалась минута ожидания провожатого-итальянца, должного показать дорогу на водящий луч, – Свягин ждал, по обыкновению, у пульта и находил там Машу в страшной балетной растяжке, «греющуюся» на планшете. И что-нибудь, да успевал сказать Свягин вразумительного. Случайностью ли были эти незначительные «пересечения путей», но все чаще ему стало казаться «с холодком под сердцем» и некоторое Машино в этом участие. «Бог ты мой, да что же это за обрыдлая, нелепая жизнь такая! – отчаивался он порой, – всё на ходу, всё бегом, всё вполслова, вполбашки, и ляпнешь чего не то, занесет молодца, так и до конца следующего дня не исправишь, не объяснишься!»

3.

В один из вечеров, в пригороде Парижа, команда техников сидела в холле отеля, развалившись в мягких кожаных креслах вокруг стеклянного стола. Пару часов назад закончился очередной суточный переезд; заученно исполнив традиционный ритуал с размещением и душем, люди потянулись из замкнутого пространства номеров на просторы – часть коллектива подалась на вечерние улицы, техники же удовольствовались объемом холла и баночным пивом.

Свягин заметил Машу, которая, вышла из лифта и, будто замаявшись в нерешительности, не двинулась никуда дальше, а уселась в отдалении на диване без всякой видимой цели.

«Что бы это могло значить?» – подумал Свягин, уже не слыша речей соратников. Смутные догадки последнего времени снова посетили его: «А что, если именно таким вот бессловесным балеринским образом она обращается ко мне? Вдруг это не что иное, как своеобразный жест приглашения? Подходи, мол, присаживайся, Свягин?»

Однако в нарушение этой гипотезы Маша неожиданно встала и устремилась к выходу. Заметила ли она Свягина вообще? Прямая, стройная, в летнем платье, она легко спустилась со ступенек под козырьком и не спеша пошла по вечерней улице, освещенной в уходящей перспективе огнями фонарей, витрин и реклам. Стоило ли Свягину ее догонять? Или догонять ее означало еще раз увидеть удивленные, даже возмущенные, глаза и услышать банальное женское «зачем»?

Ах, женщины! Эти жесты, фразы, этот туман, эти области циклона меж ясностью и полным мраком; странны эти грани. Вы часто говорите с нами так, будто на этом свете хуже нас никого уже быть не может, но желаете показать это непременно, – и именно эта чрезмерная ваша серьезность и подчеркиваемое равнодушие дают нам надежду на невозможное.

– Василий, дай мне ключи от трейлера, – сказал Свягин сидевшему тут же в компании отечественному водителю.

– Задавить кого-нибудь хочешь? – с ухмылкой спросил водитель, а соратники Свиягина дружно заржали по-лошадиному, прекрасно понимая о чем идет речь.

– Не знаю. Посмотрим по обстоятельствам. Дай ключи.

– Вид у тебя какой-то усталый. Отдыхай, Серега! – пытался отшутиться Василий. – Да и мой железный конь уже спит!

– Я разбуду. Мне недалеко, тут, рядом.

– Да чтоб мне в пробке на месяц застрять! – воскликнул водитель, видя серьезность свиягинских намерений. – Я и прицеп с декорациями уже отцепил, один тягач остался! Завтра с утра в Париж за разрешением гнать!

– Да мне не декорации нужны! – рассмеялся Свиягин обычному водителескому рефлексу. – Давай ключи!

Он прошел на гостиничную стоянку, открыл исполинскую кабину «Мерседеса», влез по ступеням внутрь и со словами: «тихо завелся и тихо пошел!» завел громадину-тягач, отмечая попутно про себя, что автомобильное кресло, само принимающее форму тела, не в пример удобнее автобусного.

«В этой трагической истории кланов Монтеки и Капулетти я опускаюсь до голливудского уровня!» – воскликнул еще Свиягин, трогаясь с места и выруливая с гостиничного паркинга на улицу. Перед носом болтались какие-то вымпелы и куколочки водителя Василия, но наш герой быстро увидел Машу, шагающую впереди вдоль тротуара. Он сбросил газ и, соизмеряясь с балеринским шагом, очень осторожно и медленно поравнялся с ней всею своей хромированной громадиной, двигаясь рядом. Маша, не останавливаясь и не оборачиваясь, тяжело вздохнула.

Узкая улица была в это время уже почти безлюдна; навстречу им попадались иногда балетные пары и небольшие группы, идущие назад, в отель, с первой разведки – все они с изумлением оглядывали странный тандем, не решаясь обратиться к Маше за разъяснениями, как будто уже окончательно убедившись, что тут имеют место отношения, человеческому разумению недоступные. Так они и смотрелись со стороны – идущая по тротуару девушка и ползущая рядом громадина. «Это мы так прогуливаемся!» – буркнул Свиягин, как бы отвечая на все вопросы встречных. Он кнопкой открыл оба боковых окна.

Свиягин не мог читать Машины мысли, но приблизительно знал голую механику типового балеринского поведения. Он знал, что балерина никогда и ничем не выдаст зрителю своей растерянности в случае непредвиденной ситуации, ни при каких обстоятельствах – даже получив травму – не уйдет со сцены, не завершив дела, если уже на эту сцену вышла. Поэтому он чувствовал, что самое простое сейчас для нее решение: развернуться и пойти в обратную сторону – ей вряд ли придет в голову. Двигаясь так некоторое время рядом, Свиягин вдруг резко заглушил двигатель и крикнул на всю улицу, наглец, отчаянно, идиотским голосом:

– Девочки, стоим!

Рефлексы, с детства вогнанные в кровь балерины – поступать в случае любого сбоя механически, быстрее, чем это может дойти и до зрителя, и до нее самой – заставили Машу инстинктивно остановиться. Остановилась фонограмма, остановилось действие, и, чтобы не разваливать синхронное движение мизансцены, Маша тоже застыла на месте – ждать, пока какая-нибудь подсказка к дальнейшему действию себя не проявит.

– Послушай! – крикнул Свиягин, – это уже становится неприличным! Что о нас люди подумают? Садись, поехали!

Маша, наконец, стала к нему вполоборота и опять только вздохнула, но так, что было понятно – никуда она не поедет.

– Почему ты даже не обернулась? – воскликнул Свягин, выпрыгивая на тротуар из кабины, – Разве ты ничего не боишься?

– Нет, – сказала Маша, – кто же это еще мог быть? Чтобы – вот так?! И как ты появишься в следующий раз, можно узнать? На пушечном ядре, на верблюде, на лыжах, в валенках, с оркестром?

Она как бы стряхнула с себя наваждение, развернулась и пошла так же не спеша назад, в сторону отеля.

– Новые вещи вторгаются в твой мир! – крикнул Свягин ей в спину. – Прежний тип сознания совершенствуется!

– Нет, – сказала Маша, не останавливаясь и не оборачиваясь, – наоборот, разрушается.

– Да куда же ты! – крикнул Свягин еще, – а как я разворачиваться буду? Помоги мне хоть улицу перекрыть! – попытался пошутить он.

Маша не отвечала.

Отогнав тягач на стоянку, Свягин зашел в холл отеля и положил ключи на стол перед Василием.

– Твоя подружка только что вернулась, живая и невредимая, – улыбнулся в усы водитель. – Сказала, чтоб я тебе ключи больше никогда не давал.

– Хватит врать, Вася, – отвечал Свягин, – она такого в жизни не скажет. Да и просто знать не может, чем заводится машина и у кого от нее нужно брать ключи. Слишком сложная цепочка. Вы, карданы, какие-то все фантазеры.

– И это плата за добро! – рассмеялся водитель.

Ближе к полуночи Свягин попрощался в холле с соратниками и вошел в лифт, но какая-то сила заставила нажать его кнопку Машиного этажа. Пройдя в конец длинного пустого коридора с бесчисленными дверями по обеим сторонам, Свягин отчего-то поступил «по-балетному» – уселся не на гостиничном диванчике около чопорного зеркала и вазы с какой-то растительностью, а прямо у стены на мягкий ковровый пол, вытянув перед собой ноги. Впрочем, такие манеры не были в чистом виде унаследованы им от балета; стремление невольно воспринимать любой угол собственным домом – подспудно сидело в каждом путешественнике, уже уставшем от бесчисленных переездов и перемен.

Место, куда он пришел, было на этаже тупиком, и в переносном смысле Свягин был в тупике тоже. Вдруг он услышал чьи-то тихие шаги по коридору. В полумраке, на расстоянии, можно было не сразу разглядеть кого-либо вообще, но Свягин еще боковым зрением, по одним только очертаниям и особенностям движения узнал Машу.

Она подошла и, на секунду замешкавшись, опустилась рядом, так же вытянув по полу длинные ноги в узких брюках. Еще секунду в ней шла какая-то борьба; наконец, как бы не в силах сладить с собой, она прильнула к Свягину, обхватив его шею руками, уткнувшись лицом в его грудь, отчаянно прижавшись к нему всем телом.

Наш герой не сразу осознал происходящее; он замер от неожиданности, чувствуя щекой Машины волосы. Но этот жест был настолько недвусмысленным, что на Свягина накатила волна нового, еще неведомого счастья, смешанного и с волнением, и с усталостью, и с восхищением от справедливости жизни! Тут не было места какому-нибудь мелкому самолюбию; но это безусловно было завершением всех его мытарств, последним штрихом его прежней нескладной повести, – даже победой, оказавшейся вдруг такой естественной и безоговорочно под-

тверждающей правоту – нет, не его личную, – а именно тех самых «вещей призрачного происхождения», без которых мир не устоит.

– Вот так бы всю жизнь и провела, вцепившись в тебя, – сказала Маша. – Странно как. И чем только я заслужила такое... твоё внимание?

Свиягин наклонился увидеть её глаза, но Маша отвернулась, прижимаясь другой щекой к его плечу.

– Господи... Таких, как я – сотни, одинаковых, друг на друга похожих, – сказала она с какой-то усталостью. – Чем я-то лучше других? Почему именно я, Сережа?

Свиягин обнимал Машу, слушая вопросы, на которые вряд ли нужно было отвечать.

– И, главное, всё получилось из ничего, случайно, – продолжала Маша. – Могли бы с тобой ещё сто лет работать бок о бок, и даже в одном автобусе кататься, если бы я сама тогда к тебе не напросилась. Вот именно, сама!

И уже почудилась Свиягину какая-то горечь в её словах.

– Ты говоришь об этом так, – сказал он осторожно, – будто сожалеешь, что тебе не удалось улизнуть. Как будто ты в сети к охотнику попала. Так или иначе, пусть сегодня всё прояснится. Самое время теперь. Хватит трейлеров, простыней всяких, недомолвок.

– Да что же я, бревно бесчувственное, или кукла тряпичная?! – воскликнула Маша. – Думаешь, мне самой не хотелось всё это время хотя бы раз – согласиться? Да и тогда, в автобусе, ты думаешь, я просто так к тебе пришла? Поболтать?

– Думаю ли я? – безнадежно переспросил Свиягин. – Нет, я уже ни о чем не думаю. Я уже всё передумал и, надо сказать, мало чего понял. Или одного твоего желания недостаточно? Или есть какие-нибудь еще препятствия? В чем же, собственно, дело?

Маша отстранилась от него и отвернулась в сторону, положив вытянутые руки на свои колени и как бы сосредоточившись только на них. Она будто расстроилась.

– Других препятствий нет, – сказала она после паузы. – Конечно, дело только во мне самой. В этом-то всё и дело. И мне так странно, Сережа, что самых простых вещей ты не понимаешь. Господи, да что же это со мной? Не могу разговаривать так, сидя! – вдруг воскликнула она и, в секунду сгруппировавшись, пружинисто встала над Свиягиным. – Как будто всё стоит на месте, без движения. И голова моя балеринская без движения совсем не работает! – усмехнулась она. – Хочешь, пойдем прогуляемся? Я утешаю себя тем, что одна прогулка ничего не изменит.

– Это хуже любого отказа! – в веселом отчаянье от того, что он ничего не понимает, воскликнул Свиягин, тоже вставая с пола. – Донт аск вай, так сказать, или, по-русски: не спрашивай, Свиягин, почему! Всё равно ничего не поймешь из балеринского ответа! Может быть, я отупел, может быть, мне нужно поменьше пить сухого вина и побольше класть в чай сахара? – понесло его. – Такие повороты нынешним вечером! Не зря я подержался сегодня за руль! Ты вроде бы идешь мне навстречу, а сама отдаляешься; говоришь чуть ли не о взаимности и тут же ставишь барьеры! Я вижу, что ты не рисуешься, не играешь, да и не похоже это на тебя, Маша! Что же это? Как мне все это вместить и уложить в своей башке?

– Так мы идем или нет? – спросила Маша, улыбаясь свиягинскому кипению. – Уже первый час ночи.

– Конечно, соблазн отказаться – велик! – воскликнул Свягин, наглец. – Однако, ладно, пойдем, так и быть. Если тебе от этого легче думается, то мне надо быть джентльменом.

Маша посмотрела на него восхищенно-отчаянно.

Они спустились в уже опустевший холл, прошли мимо портье и вышли на ночную улицу, теперь уже совсем безлюдную, беззвучную, без единого шороха, но сплошь залитую огнями реклам. Никогда не считал Свягин, что рекламные надписи в городах других стран хоть каким-то образом относятся к нему, но теперь у него возникло ощущение, что эти поздние огни на безлюдной улице горят – не впустую, нет, – но будто чей-то чужой, здешний праздник закончился, все разошлись, и всё неоновое световое великолепие осталось теперь для главного выхода – их с Машей; чтобы только их проход был окружен разноцветным световым праздником, и только их шаги звучали в полной тишине, а всё прочее чужое присутствие было бы уже неуместным, запоздалым, бессмысленным, как ужин в час ночи.

Свягин обнял Машу, и они пошли вперед; не куда-то, а только чтобы идти, обнявшись.

Но этих нескольких счастливых секунд испытания немотой поэтическая психика не выдержала. Свягину нужно было понимать происходящее, ухватить его. Ему показалось, что за этим молчанием опять кроется нечто неведомое ему – как будто Маша на своем бессловесном языке ведет с ним диалог, которого Свягин не слышит. Нужно было испытать ситуацию абсурдом, вывернуть ее наизнанку, чтобы все смыслы прояснились.

– Первая сегодняшняя сцена с трейлером была крайне неудачной, – натужно сказал он. – Надо поллучше ее отрепетировать. Сейчас пробуем еще раз, с выхода из отеля. В случае чего будем повторять, пока не получится.

Маша убрала от себя его руку, отстранилась и сказала устало:

– Нет, Сережа, ты мне скажи честно: может, это что-то особое, поэтическое, чего я не понимаю? Мне бы самой на что решиться, а тут... Ну при чем здесь театр? Ты даже не представляешь, чего мне всё это молчание прежнее стоило! Да если бы меня не тянуло к тебе, как сумасшедшую, и если бы я в тебе не чувствовала то же, разве б такое молчание было возможно? Боже! – воскликнула она, смеясь каким-то нервным смехом. – Час ночи! Завтра репетиции – весь день! Устроила себе ночной отдых! А он, смотрите-ка, издевается!

– Ладно, ладно, – сказал Свягин примирительно, ничего не понимая, но снова обнимая Машу и уже без ее участия прижимая к себе. – Это я оттого несу ересь, что мы с тобой стали двигаться, и теперь – *меня* заклинило. Моя очередь, так сказать. Ты не можешь сосредоточиться без движения, а я не могу собраться с мыслями на ходу. Маяковский всё выдумал для красного словца, что стихи вышагиваются. Ни черта они не вышагиваются, разве что агитки, да и то с приплясом. Мне внешний мир и физиология как будто навязывают свой ритм, а озарения, скажем прямо, нет! Мне легко в одиночестве, у лампы, за письменным столом, или уж тогда, когда я от этой усидчивости отдыхаю – то есть, бегаю по крышам, срываюсь с водосточных труб и скатываюсь в овраги.

– А сейчас? – спросила Маша.

– У меня странное чувство, что я как будто в чем-то уже опоздал. Мне легче было бы завоевать тебя на волне моего прежнего раздолбайства и легкости, пока я не увяз в этих ребусах и вопросах без ответов. Как будто очевидность новой ошибки меня сковывает. Я, как сказала бы Цветаева, «ушел – душой – в немоту».

– Это Цветаева так сказала?

– Нет, она такого не говорила.

– А почему же ты тогда говоришь?

– Хм, действительно, почему... – замылся Свягин. – Знаешь, Маша, чем дороги ушедшие поэты? С ними можно считаться, как с живыми, даже говорить и спорить. Знать, что бы они сейчас сказали. Они не живут, как ваши, в категориях превосходностей и великих вкладов в искусство, они – свои, домашние.

– Может быть, ты прочтешь мне стихи? – спросила Маша. – Не про ноги на плечи, а свои, настоящие?

Свягин посмотрел на нее с сожалением и сказал:

– Читать стихи балерине, это всё равно, что кормить сеном паровоз. Или лошадь – дровами. Как угодно, да. Одно к другому абсолютно не подходит.

– Я не обижаюсь, – сказала Маша, – но ты не должен балеринские способности мерить поэтическими. Это то же самое, если б я оценивала стихи по тому, как поэт танцует.

– В Греции всё есть, – сказал Свягин, – надо будет, и станцуем. Вон, Пушкин, тоже был поэт, а как танцевал на балах! Ч-черт, дрянь какая-то вышагивается! – изумился он сам себе. – У тебя на ходу лучше получается.

Маша вдруг задержала движение, сделала шаг в сторону с каменного тротуара на зеленую траву газона и потянула за руку Свягина.

– Иди, иди сюда, на траву. Что ты там говорил в автобусе насчет «самой прыгать не надо, партнер подымет»? Держи меня за талию сзади. Да не обнимай, а просто держи.

Свягин положил руки и едва не упустил Машу – сильно толкнувшись, она взмыла свечой вверх. Возмущению ее не было предела.

– Ты чего не держишь?! Ты чего? «Партнер подымет»! Вот так вы, поэты, и танцуете! Если б вы танцевали с балеринами, ни одной бы в живых не осталось.

– Вы бы от стихов раньше вымерли, – пытался парировать Свягин. – Покажи-ка лучше движение, которым ты из автобуса тогда выходила.

– Томбэ?

– Ну ты и спросила! Откуда я знаю?

– Полностью комбинация – батман девлопе томбэ. Это, *по-вашему*, как бы батман с выниманием ноги и – падающий шаг.

– Да! – крикнул Свягин, – вот это по-нашему!

Но глядя на вытянутый носок с рельефным подъемом, на быстрый взмах прямой, как струна, ноги, Свягин удивился, что в затверженное классическое движение, безупречно выполненное, Маше удалось каким-то образом внести оттенок юмора.

– Давай-ка еще раз поддержку попробуем, – предложила Маша, отводя рукой назад веером волосы, упавшие на лицо, – у нас же не получилось. Здесь не столько сила нужна, сколько слаженность. Чувствовать друг друга без слов. Э-э, да я смотрю ты *ничего* не умеешь! – рассмеялась она, когда Свягин снова неловко, в разлад с ее движением, попытался поднять ее.

– Я много чего другого умею! – сказал он.

Маша неожиданно смутилась.

– Ну, это дело нехитрое, – сказала она.

– Да нет! – рассмеялся Свягин, – я, действительно, имею в виду не только это!

Маша еще больше смутилась:

– Извини меня. Трудно общаться с нормальными людьми!

Они опять вышли на тротуар и двинулись дальше.

– А почему ты сегодня спросил из машины, мол, что о нас другие подумают?
– поинтересовалась Маша, – ясно, что в шутку, но всё же? В какой степени для тебя это важно?

– Только в той, чтобы наши отношения каким-нибудь образом не отразились плохо на тебе. Меня это очень здорово сдерживало, надо признаться. Не бойся бы я повредить твоей репутации среди вашей братии, то развернулся бы не в пример шире.

Маша посмотрела на Свягина с таким выражением, будто проверяла, не шутит ли он, и искренно рассмеялась.

– «Повредить моей репутации!»! – передразнила его она. – Нет, ты все-таки ничего в нас не понимаешь!

– Да как я могу понимать инопланетян?

– Для меня – ты сам с другой планеты! – смеялась Маша. – Если ты о слухах, то мы с тобой уже все нормы перевыполнили! Подробности даже меня изумляют!

– Да когда ж мы успели? – удивился Свягин. – Ты же мне прилюдно всё это время отказывала?

– Ой, да кто в это поверит? – вздохнула Маша. – Балерины все лгуньи; на людях одно, в действительности другое. Всё решает твое желание. Я тебя приняла в свободное время.

– Это у вас оно свободное! – рассмеялся Свягин, – а у меня даже времени погреть не было!

– Значит, успел на голодный желудок, – констатировала Маша. – Надо же чем-то жертвовать.

– Но, если без шуток, – продолжала она, – то никакой такой репутации в балете не существует. У меня только одна репутация – на сцене, а всё остальное *недействительно*. Так что в смысле слухов за меня не беспокойся. Знаешь, однажды Матильда Кшесинская пришла к Петипа просить роль Эсмеральды...

– Это анекдот?

– Нет, правда, было. Не перебивай. Так вот. Петипа плохо говорил по-русски и поэтому спросил у нее: «А ты – любила?»

– Анекдот же, – не унимался Свягин. – По канве видно.

– Да нет, говорю тебе! Балетная классика! Кшесинская ответила ему, что да, мол, любила и сейчас любит. Тогда Петипа спросил: «А ты – страдал?» «Нет, – сказала она с сожалением, – еще нет». – «Вот когда узнаешь, что такое страдать, тогда приходи».

– Он с ней прямо как кавказец с рынка разговаривал, – сказал Свягин. – Но если я правильно понял, то Петипа заботили не подробности жизни балерины, а то, как она может свой любовный опыт применить для новой роли. Пусть это даже роман с самим императором Николаем. Так?

– Да, так. И император тут ни при чем. Дело не в императоре.

– Но тогда отсюда вытекает еще одно. То есть, вашим педагогам, вашим «петипам» по этой схеме просто выгодны любые ваши увлечения, интриги, путешествия из рук в руки, разрывы и страдания?

– Конечно. И чтобы при этом ради танца мы умели перешагивать друг через друга. Нас за таких и держат. Но и это не главное. Главное – в нашем собственном отношении к таким вещам. Понимаешь, для балерины жизнь не разделяется на отдельные части: работа, любовь и... и так далее. Вам, не балетным людям,

трудно понять одну простую фразу, что *вся жизнь для нас, это сцена*. Звучит как красота, поэтому трудно понять ее глубину. Жизнь сама по себе, без танца, балерине неинтересна, и все поступки, совершаемые в ней, особого значения не имеют.

– Не имеют?

– Почти не имеют. Всё, что происходит не на сцене, интересует балерину только в одном смысле – чем это полезно для *главного* и как помогает отдохнуть и набраться новых сил. Когда балерина в свободное время уподобляется вам: ходит в гости, готовит, стирает, спит с мужчиной – для нее это не жизнь, а какие-то остатки, отходы от главной, настоящей жизни. Всё это представляется ей чем-то необязательным, ненужным, растянутым, лишенным смысла, как долгий нудный разговор со скучными собеседниками, лишь отнимающий время.

– Это действительно так?

– Да, обычно это так. Посмотри, как репетирует на сцене балетная пара, по-вашему, влюбленная друг в друга. Минуту назад они ворковали в кулисах, но вот в танце у них что-то не получается, и балерина находит единственные слова для своего друга: «Твоя работа сегодня – это неуважение к партнерше!» Собственным, личным чувствам на сцене не может быть места. Любовь, как полотенце артиста или его шерстянки, оставлена за кулисами. И ты сам хорошо знаком с этими «странностями», много подобного наблюдал со стороны, но не понимаешь только по одной причине – отказываешься понимать. Даже допустить, что для кого-то это нормально.

– Это бред, – сказал Свягин. – «Жизнь на сцене» – это банальность. Что такое «жизнь на сцене»? Розы, выпадающие из рук, ежедневная красивая смерть для зрителей и – аплодисменты? Это фантазия, гипноз, самообман. Если жизнь не берет свое, то это не жизнь, а паранойя. Жизнь не может быть отходами от танца, любовь не может быть разновидностью отдыха после работы, такая любовь называется не любовью, а бляд... Хм, прости.

Маша рассмеялась.

– Трудно подводить под это вашу мораль. Вы не понимаете, что для нас важны лишь тонкости отношений партнеров на сцене, а то, что балерины спят с кем-то там чуть не у всех на виду, это не мораль, а так, издержки производства. Это как таблетку от бессоницы выпить. Не-балетные люди видят нашу закулисную жизнь, и судят нас по тому, что у нас самих жизнью не считается. Думают, что всё знают о нас! Но примитивность балерины, это всего лишь видимость. Так же, как и ее доступность. Человеку со стороны может показаться, что этими убогими существами можно крутить как угодно, но это заблуждение. У балерин другие ценности, другие представления о главном. Кто ты на сцене – вот главная ценность, и мораль, и репутация. Но ваши люди этого... не понимают! Ну что это за безобразие журналист спрашивает у балерины: «Что значит для вас День Конституции?» Какая еще такая Конституция, зачем? Никогда не было никакой Конституции! И балерина с испугу отвечает честно: «Я не чувствую этого праздника!» Еще бы! Где ей его чувствовать, в «Жизели»? Или вот – одна из балерин, что вышла замуж за «вашего», признается: «Он прекрасный человек, но с Улановой я почему-то говорю на одном языке, а с ним не могу». Уланову и партнера балерина всегда любит больше, потому что они люди ее мира. Я уверена, что даже император для Кшесинской был во многом чужим, «не балетным», как ни дико это звучит.

– Неужели из этого бреда нет исключений? – воскликнул Свягин. – Плисецкая, например? Она же совсем по-другому мыслит?

– Ну, Плисецкая... – с уважением сказала Маша. – Майя Михайловна вообще – исключение из всех правил. Но знаешь, что она говорит нам? «Я всю жизнь встречалась с настоящими королевами, и никогда не могла поверить, что они настоящие. В них нет пластики, они одеты без вкуса. Мы с вами на сцене их, увы, идеализируем».

– Потрясающе! – признался Свягин. – Ведь в этом замечании – вся балетная сущность! Плисецкая только довела до совершенства ту мысль, что наша реальность для вас ненастоящая, призрачная, а реально только то, что на сцене! Ну да ладно. Но ты говоришь, что это *обычно* так...

– Да, я понимаю, речь обо мне. Пойми, Сережа, меня правильно. Ты не входил в мои планы. То, что со мной случилось, случилось по моей собственной неосторожности.

– Может, ты от меня беременна? – съязвил Свягин.

– Нет, хуже. Я, Сережа, теперь запуталась окончательно. Никогда не думала, что это так опасно – отойти в сторону и посмотреть на себя с некоторого расстояния. Глазами нормальных людей. Или не нормальных, то есть, не наших? Я уже теперь и сама не знаю, каких. Но ты меня как бы в сторону отвел, да еще дал мне свой язык, свою речь, сказать это. И я теперь не знаю, кто я – ни рыба, ни мясо. Защищаю балет, а сама слышу, как дико всё это звучит, как нелепо мы, балетные, со стороны выйдем.

Разве для меня этот вопрос главный – кто ты мне, дорог мне или нет? Да я счастлива дать тебе всё, чего ты только пожелаешь, но ведь дело не в этом! Я уже не такая дура, как наши, я знаю, что лично мне этот номер даром не пройдет. Ты занял во мне место, принадлежащее балету, и мое счастье, мое желание быть с тобой – это *соблазн*, вопрос, который я не могу решить. Любая балерина наутро выйдет на сцену со свежими силами уже не к вчерашнему любовнику, а к партнеру, и они будут жить совсем другими, *главными, настоящими, сценическими* чувствами. Другая бы это легко пережила, а я? Кто я тогда буду, кем выйду на сцену и что буду чувствовать? Сбой в голове, ерунда какая-то! Серединка-наполовинку; ни твоя женщина, ни балерина. Разрывать пополам? Нет, это даже не разрывать, это два разных мира в себе сталкивать, устраивать в душе мясорубку.

...Какие смыслы открывались Свягину с каждым Машиным словом, как они переворачивали в голове все прежние слова и значения! А так хорошо всё началось! Еще пять минут назад он не мог представить себе ничего подобного. Никакие признания женщины в изменах не произвели бы такого впечатления, какое произвели Машины слова на Свягина. Это было равнозначно тому, как если бы Маша призналась вдруг, что прилетела с другой планеты, тянется к нему, но сама состоит из какого-нибудь антивещества, и прикосновение к ней Свягина будет для нее смертельным.

– Удивительная ситуация, – усмехнулся Свягин. – Получается вроде того, что от меня ничего не зависит?

– Я знаю твой стиль, – грустно улыбнулась Маша, – но даже ты, Сережа, ничего тут не сможешь изменить! – уже с нескрываемой горечью воскликнула она. – Ведь я не просто женщина, я – другое. Конечно, ты можешь настоять, и я... просто не смогу ничего с собой поделать, – потупила она глаза, – Да. Но это будет

совсем бессердечным с твоей стороны. Поможешь мне только саму себя быстрее задушить. Слишком всё это серьезно. Я, действительно, будто попала в какие-то сети.

Свиягин посмотрел на нее исподлобья.

– Сети? – переспросил он. – Разве я ставил тебе сети?

– Пойми, ведь я хочу, чтобы и ты знал, во что втягиваешься! – воскликнула Маша.

– Утешай, пожалуйста, себя, – сказал Свиягин, – а я уже втянулся.

– Очень, очень жалко, – расстроено произнесла Маша. – Ты мне очень дорог, Сережа. И именно поэтому нам нужно как можно быстрее всё это закончить. Ведь ты меня сегодня нисколько не обнадежил, то есть, совсем не разочаровал. Это ужасно.

На следующее утро, в театре, Свиягин подошел к Маше, стоящей в кулисах. Артисты только что сделали класс под рояль, уже шла фонограмма репетиции, но на сцене и вокруг творились еще разброд и неразбериха, свойственные всякому первому обживанию чужой площадки. Артисты еще неловко тыкались из кулисы в кулису, выходили «не оттуда» и опаздывали по музыке, кто-то вообще неожиданно пропадал, заблудившись в новых незнакомых переходах под сценой; тогда репетицию останавливали.

Маша стояла, опустив глаза, и тяжело, сосредоточенно смотрела в пол. Свиягин подошел к ней, открыл было рот, но в последнюю секунду понял, *что* такая сосредоточенность означает. Он еле успел шарахнуться в сторону.

– И-и, раз-два-три, р-раз! – крикнула Маша, и, сразу попав в музыку, выбежала на сцену вместе с целой толпой, дробно стучащей пуантами.

«Черт возьми, что ж это такое на белом свете творится? – тупо подумал Свиягин. – Где это еще видано: мне почти что признались в любви, и именно на этом основании – сразу же, решительно – отказали!»

В последовавшие за тем дни наш герой привыкал к мысли, что Маша почти не узнаёт его. Сталкиваясь с ней, Свиягин здоровался, глядя исподлобья. «А-а, привет, Сережа, как дела?» – легко, как бы мимоходом обнаруживая его присутствие, отвечала она. В такой огромной толпе было необязательным каждому приветствовать каждого, в середине дня – особенно.

«Приснилось мне это всё, что ли?» – спрашивал себя Свиягин.

4.

Французские фермеры, озабоченные тем, что ввозимые в их страну итальянские продукты расходятся лучше по причине своей дешевизны, а французские почти совсем не расходятся, а напротив, даже гниют тоннами, не найдя сбыта – устроили автоблокаду под Парижем, перекрыв трейлерами дороги и мигом образовав многокилометровые пробки.

И чёрта бы нашим гастролерам эта блокада и эти пробки, но восклицание отечественного водителя Василия оказалось для него пророческим. Машина «Совтрансавто» со всеми декорациями, аппаратурой, костюмами, обувью, гримом, репетиционными вещами артистов – оказалась намертво затертой среди сотен грузовых собратьев, растянувшихся змеей до горизонта.

Это была знаменитая французская автоблокада 1992 года, мирная вначале, но приведшая вскоре к столкновению с войсками, попытке расчистить дорогу танками и сожжению многих своих машин водителями в знак протеста.

Автобус же с гастролерами, после непродолжительных маневров по обочинам и развязкам дорог, вернулся в Италию.

Итальянец-импресарио был в шоке. «Вы должны отработать по контракту еще столько-то спектаклей! – нес он руководству театра полную ахинею, – ведь у меня уже проданы билеты во всех городах и заплачено за все площадки!». «А мы за французских фермеров не отвечаем! – парировали наши бюрократы, – нечего дешевые фрукты во Францию возить!». «Я должен буду заплатить колоссальную неустойку! – ужасался итальянец, – у меня нет таких денег!». «Это не наши проблемы, – отвечали ему, – заплатите коллективу за уже отработанное и хоть завтра отправляйте в Москву!». «Но чем же я заплачу? Все деньги уже вложены! Я могу заплатить только в случае, если спектакли будут продолжаться!» – ходил он безнадежно по кругу.

5.

Для людей, ведущих жизнь на колесах, наступили дни оседлости. Казалось невероятным, проснувшись утром, лениво потянуться и позволить себе еще полчаса горизонтального блаженства, а не бегать ошалело по номеру, сваливая в сумку все свои вещи подряд, да стучать в двери соседних номеров, раздавая чужие. Утро пахло душистым мылом, крепким чаем и детством. Два вечера подряд ходили на что-то забытое из школьной жизни – прогул урока, чувство, что в круговой залаженности твоих обязательств есть идущая наперекор ей минута свободы. «Сейчас бы уже второй акт «Лебединого» начался! – вместо приветствия говорили друг другу, входя вечером в номер соседа с дымящейся кастрюлей и «столовым серебром». – Но – приступим!»

...Вдруг на третий вечер дошла весть, что несколько городов ни в какую не согласны на отмену и требуют запланированных выступлений на своих площадках с условием – приезжайте, а все проблемы будем решать на месте. Неясно, на что они рассчитывали, однако это означало, что гастроли будут продолжаться. «*Show must go on!*».

Когда Свягин, узнав новость, зашел в 225 номер отеля «Ибис» к Шуре, тот, по обыкновению пьяный, сидел у зеркала над взрезанным пакетом вина и фило-софски тянул:

– Да-а! Дела-а-а!

Фанерыч уже прознал о продолжении гастролей и даже получил задание от худрука Вениамина Петровича. Теперь он, попивая второй пакет, «сводил» на японском двухкассетнике оставшиеся у него репетиционные записи спектаклей. Кассеты были разбросаны по всему номеру.

В паузах между музыкой, через стену, из соседнего номера слышался несмолкаемый гомон, взрывы смеха и гулкое перебивчатое говорение, переходящее опять в гомон и смех. Это был Машин номер, куда по вечерам балетные девицы стекались кушать свое балеринское варево. Свягин различал порой самые высокие голоса. Там горланили, цитируя невпопад то какие-то поп-шлягеры, то частушки, колбасой катались по номеру, будто прущая из этих юных созданий энергия должна была волей-неволей находить любой, даже самый несуразный выход.

– ...Как айсберг в океа-а-ане! – выл кто-то.

– В Окина-а-аве! – кричала одна из сестер-близнецов, Ольга Щапова.

– В одина-а-аре! – кричала ее сестра, Щапова Анна.

А Шура, сидящий тут, то мрачнел, то трясся от смеха:

– Гм-м! Наш Ве Пе не худрук, а сундук! Что это за хурма творится? Спектакль, под кассетную запись? Оригина-а-ально! И чего там эти Параши Жемчуговы разорались? Работать не дают! – говорил он, опрокидывая очередной стакан вина.

– Вот ты, Сергей, литератор, – мутно глядя на Свягина и уже держась на стуле из последних сил, хитро говорил этот словесный террорист. – Скажи мне, как литератор литератору, как индеец индейцу, «Ибис» – это подлежащее или сказуемое?

– Это птица, но если ты о названии отеля, то это имя соб...

– Ни черта не знаешь. Ибис – это приказ! У них норм-м-мальной «фанеры» нет, а ты тут ибис! – и с этими словами лингвистический хулиган сполз со стула и рухнул на пол. Свягин подобрал его, шевелящегося и бормочущего: «ну вот, завтра опять болеть!» и уложил на кровать, где Шура через минуту уснул в позе «подпрыгнувшего украинца». Томясь и перематывая Шурины записи, Свягин был сражен наповал – место вариации Базиля занимала «Мисс Вандербилд» Пола Маккартни, а «Дон Кихот» кончался грустной песней Элтона Джона «Прощай, желтая кирпичная дорога». Укрыв Шуру легкой накидкой и вытянув ему ноги, Свягин перебрался к себе номер.

Через час раздался телефонный звонок. Звонил осветитель Ухтомцев.

– Ну, ты чего не идешь, милый мой! Если я сегодня варганю, то и всех созывать должен? Борщ уже стынет, со сметаной! А что на второе, не скажу! Сдохнешь! Давай быстрее! Поторапливайся!

– Иду, иду – отвечал Свягин.

– Фанерыч не у тебя? Он музыку писал, а сейчас его телефон молчит. Ты не в курсе?

Свягин рассказал что к чему.

– Ладно, оставим ему. Давай быстрее.

Через секунду раздался еще один звонок от Ухтомцева.

– Опять я. Слушай, мы кетчуп тебе в сумку засунули, прихвати. И ложку посмотри, у нас не хватает. Всё, давай.

Вслед за этим раздался еще один звонок.

– Да! – крикнул в трубку Свягин. – Чего еще надо? Я, мля, так до утра буду к вам собираться!

– Сережа, это я, – сказала Маша в трубке смущенно.

Свягин оторопел. Он хотел что-нибудь сказать, но издал только невнятное мычание. Возникла пауза.

– Девочки ушли, – произнесла Маша нерешительно. – Чем ты сейчас занимаешься?

– Ничем, – наконец, нашелся Свягин, – я свободен.

– Заходи? – то ли предложила, то ли спросила она.

И опять Свягин замешкался.

– Сережа, я всё прекрасно понимаю, – сказала Маша, – но... пожалуйста, приходи.

– Конечно, приду, – пробормотал наш герой, – хотя, боюсь, что завтра при встрече ты опять не будешь меня узнавать. Снова всё начинается с нуля, Маша. Будто с какой-то кассеты вытерли все предыдущие сюжеты.

Однако Свягин лукавил, говоря так. Он уже чувствовал и новый поворот событий, и свойственную этим событиям опаску быть неосторожно разрушенны-

ми, – их новую значительность и хрупкость одновременно, и тайное, упрятанное за словесными формами приличия обоюдное понимание происходящего. В этой хрупкости и есть вся драгоценность, когда за прозрачными словами ощущаются вещи несомненные.

Дверь была приоткрыта, Свягин постучал и, услышав Машино высокое «да-а!», вошел. Номер, вероятно разгромленный прежде девицами, носил следы тщательной свежей уборки, горка посуды еще блестела, одеяла и покрывала были безукоризненно расправлены и заправлены – на всём был характерный отпечаток женской хозяйственной педантичности – то, чего не бывает в мужских гастрольных номерах, прокуренных, вздыбленных, с липкими кругами от стаканов на полировке. В ванной комнате, где обычно у всех гастролеров происходила готовка, и где теперь находилась Маша, на сковородке жарилась какая-то экзотическая рыба с гарниром, из горки льда торчали бутылки с минеральной водой, плевался итальянский сволочуга-кофейник.

Маша встретила Свягина смущенной, почти виноватой улыбкой.

– А я тебе ужин приготовила, – сказала она. – Будешь? Я в маркет сбегала, тут, внизу. На ужин рыба, потому, что ужинать будем вместе! – добавила она чуть более решительно, явно прикрывая смущение непривычной ей ввиду присутствия Свягина ролью хозяйки. – Меню компромиссное. Потерпи минутку.

В «Ибисе» стол тянулся вдоль всей стены. Маша старалась, суежилась, то отбегая приглядывать за готовящейся едой, то сервируя стол и ставя два стула боком к столу, лицом друг к другу, – а Свягин стоял как столб и испытывал новое, удивительное чувство. Ему было тут хорошо, покой сошел на его душу. Всё это было как бы воплощением свягинских мечтаний о нормальности их с Машей отношений, домашних, почти семейных – простоте и уюте, с закатом за окном, тяжелыми шторами и торшерным светом; о неотменимых человеческих вещах, звучащих впрямую, без разгадываний словесных ребусов и странностей поведения. Что-то уж слишком трогательное было во всем этом, загаданное, хрупко начинающееся сбываться.

– Садись есть, – сказала хозяйка.

– Как это всё... как это на всё прежнее непохоже, – сказал восхищенно Свягин, – «садись есть»!

– А правда, Сережа, так бывает у нормальных людей? Приглашают... садятся, кормят! И никакой игры, ничего чужого?!

– Да.

– Садись есть! – Маша решительно сняла сковородку с одного из стульев и подвинула стул Свягину. Свягин сел машинально на горячий стул и тут же заревел белугой:

– Г-га-а!!!

– Что? – спросила Маша, волнуясь.

– У-у, ё-ё! Я-то не балетный, мог бы сообразить! «Садись есть»! Жарко, Машенька! Может быть, тиф?

– Тиф не бывает снизу, Сережа. Это что-то другое. Даже я, миленький, это понимаю.

– Молчи, сердце мое! – сказал Свягин. – Что б я так дорожил своим телом! Мы еще не в аду, мы еще не всё спели, а нас уже на горячие сковородки сажают! Ладно, ладно, мне уже теплей.

Свягин ел блюда, неумело приготовленные рукой балерины, и иногда, исподволь, поглядывал на Машу. Глаза их тогда встречались, они улыбались оба.

Особых слов было и не нужно. А то, что говорилось, было легким и несущественным.

– Где ты научилась так прекрасно готовить? – говорил Свиягин, веселясь. – Редкая удача мне выпала!

– Оставь комплименты своим «нормальным» женщинам! – смеялась Маша, лукаво поглядывая на Свиягина. – Я артистка. У меня профессиональное чутье на фальшивую похвалу!

– Боже, да что же это за беда? Как же с вами бороться? Наваждение какое-то! Причем здесь профессия? Разве честность – категория искусства? А импровизация, а кураж, а – подурчиться?

– А причем здесь искусство? Я – о естественности! Всё то хорошо, что невольно! – серебряно смеялась Маша, – а всё, что натужно, то недействительно, притворство и расчет! А я артистка, меня трудно обмануть словами. «Ты прекрасно готовишь», гляньте-ка! С чего это я прекрасно готовлю?

– Беда, беда! – смеялся Свиягин. – Хвалить тебя нельзя, ругать тоже бесполезно. Ладно, зайдем с другого боку, по-поэтически, через образ. Скажем так, что этот ужин для меня – самое дорогое из того, что я получил от жизни в последнее время! А? Что скажешь?

– И это твоя поэтическая фантазия? – всплеснула руками Маша.

– Да. Так сложно говорят только о простых вещах.

– А что, может они и вправду не такие простые?

– Что ты, Маша. Нам-то они легко даются. Понимаешь?

...Свиягин, потянувшись за чашкой, наклонился вперед, и Маша совершенно невольно, в ответ на его движение, тоже чуть двинулась навстречу. Они застыли на секунду, замешкавшись, – это движение что-то подразумевало, они как будто запамятовали, что нужно было им еще, – секунда ушла, Маша опустила глаза, вспыхнув, а Свиягин взял свою чашку.

Но в этой заминке и было всё волшебство вечера – роскошь никуда еще не торопиться, магическая возможность остановить эти неповторимые, единственные минуты, это чудо питья из чашек, гляденья друг на друга, волнения, когда каждый, забыв себя, очарован другим – всё самое настоящее на этом свете, но эхом отзывающееся уже где-то и в запредельных областях, всё самое трогательное и щемящее, которому бы – не прерываться никогда.

Свиягин смотрел на Машу не сводя глаз. Он не мог до конца поверить, уложить в своем сознании, что в эту восхитительную оболочку, в это стремительно-линейное сочетание форм, в это существо, казавшееся и без того цельным, завершенным, заключены еще и нежность, и внимание, и тепло к нему.

...И ничего в ней нельзя было объяснить, проговорить словами. В ней всё было необъяснимым тем более, чем более неповторимым. Во всякой женщине рано или поздно начинал замечать Свиягин неистребимо подобные, мозолящие глаза – черты и качества предшественниц, могущие иного сделать циником.

А тут: по-особому плавно, с какой-то отмашкой и легкой, замирающей поддержкой в движении, летела ее рука. По-особому удивлялись глаза и смеялись губы. Даже одежда служила ей не так, как другим, а по-особому! Мягкий белый свитер, удерживаемый как бы только плечами и спадающий водопадом складок, следил за каждым ее движением, повторяя и подчеркивая их плавность, и даже брючина по-особому, единственно и неповторимо, чуть-чуть не доходила до узкой щиколотки.

Во что бы ни наряжалась Маша, всё удивительно шло ей, шло в какой-то особой, превосходной степени перед прочими «гражданскими» наряжалыщицами. И не по причине контраста со сценической балеринской «униформой», и даже не в силу особой Машиной легкости и стройности, а именно – по заряду хранимой в теле взрывной энергии, по вложенности несчитанного, безумного труда, по сдерживающей самое себя силе сжатой пружины.

Глава 4. В джунглях искусства

1.

Иногда дни летят один за другим, а иные бывают ёмкими, спрессовывая в себе, как в каком-нибудь слоеном пироге, несколько пластов разных событий. Свиягин, забывая себя и потеряв представление о времени, имел все основания подозревать прошедшие вечер, ночь и весь следующий день в их недостоверности. Вечером же следующего дня в Машин номер неожиданно позвонили и попросили его к телефону. Звонил Игорь Глебович, по его словам, битый час разыскивающий нашего героя, о вероятном местонахождении которого ему сообщил кто-то из артистов.

К моменту появления Свиягина в холле, куда он был срочно вызван, уже больше получаса шло техническое совещание по вопросам продолжения гастролей, и «самое важное», по словам Игоря Глебовича, Свиягин «пропустил». Совещание в холле должно было закончиться – ни много ни мало – ночным отъездом технической команды за триста верст, в город Босано-дель-Граппо, для осмотра сценической площадки, которая теоретически была согласна принять незадачливых гастролеров.

– Речь идет о втором акте «Дон Кихота», – с ходу взял Свиягина в оборот Игорь Глебович. – Сцена «Мельница». Чем бы вы предложили заменить декорацию мельницы? Можно ли самим изобразить что-то? Из каких-нибудь досок или палок?

– Я бы предложил, Игорь Глебович, встать вам посреди сцены и размахивать руками, как тогда, на переезде, – угрюмо отвечал Свиягин.

– Это не ответ профессионала! – взорвался чиновник.

– Каков вопрос, таков и ответ! – взорвался и Свиягин. – Если декорации нет, то ее нужно не изображать, а достать другую. Поспрашивать по местным театрам, что у них есть. Только это вопрос профессионалов, а не чиновников.

Игорь Глебович посмотрел на него искоса.

– Жаль, что вы, Свиягин, в отличие от артистов, работаете не на контрактной основе. Разговор бы у нас с вами был другой. Более прогрессивный.

2.

Впрочем, по здравому разумению всё это было не смертельно – срочный сбор и отъезд, – обычные издержки гастрольного существования, пусть и обидно помноженные на новые обстоятельства. Вечером следующего дня, уже в Босано, узнав, что коллектив артистов приехал в отель, Свиягин пулей полетел разыскивать Машу. Появившись в дверях нового Машиного номера, Свиягин вместо приветствия продекламировал с порога какой-то первый пришедший в голову детский стишок о мужественном герое:

«Он только усмеялся под дулом пистолета.
Он запросто выдерживал два действия балета!»

– Детский стишок! – торжественно объявил Свягин, отчаянно растягивая время. – Детского писателя такого-то!

Маша легко прокрутилась на пальцах, распустив веером платье, погасила его руками и радостно, в тон Свягину, пояснила тоже:

– Иванов, Петипа, Горский. Возобновление, то есть, перелицовка, Григоровича. Возобновление возобновления и новая редакция, то есть, очередная перелицовка – нашего Вениамина Петровича.

– Нет, нет, всё не так! – воскликнул Свягин. – Ты танцуешь, будто я принес тебе хорошую новость! Повторим еще раз, сначала.

Свягин вышел и, появившись снова в дверях, сказал, как бы продолжая какое-то ранее начатое повествование:

– И вот, когда мы под утро выпили всё, включая театральные огнетушители...

Маша смотрела на него, смущенно улыбаясь.

– ...и едва уже не добрались до фонтана, чтобы покончить и с ним, как были убиты наповал трагической вестью! Завтра ты, Маша, вот в этом платье и затанцуешь!

– Как, «завтра»? – вопреки ожиданиям Свягина, Машино лицо расплылось в счастливой улыбке. – Уже завтра? Но... как?

Свягин пристально на нее посмотрел.

– Завтра вечером вы танцуете здесь, в этом городе. Мы с командой достали вам хороший пластик, насобирали по местным театрам кое-какой декорации, сделали свет. Костюмеры выпросили на время основные костюмы для главных партий. Так что в целом оформление будет. Завтра мы выходим на площадку с утра, приготовить на сцене еще что-нибудь. Я, правда, не знаю, что еще. Разве что макароны.

В комнату влетела Эльвира, бывшая соседка Маши по номеру.

– Слышали? Завтра уже спектакль! Грузовик с Васей хрен нашли (грузовиком она называла трейлер), но пока хоть один спектакль не дадим, денег – во! – она показала Свягину кукиш. – А я что, в трусах танцевать буду? Давайте, давайте, изгаляйтесь над бедной девушкой! Маш, а у тебя самой чего осталось-то?

– Платье репетиционное, купальник и копыта, старые уже (пуанты).

– Во, блин, везет. А я, блин, в одеяло на сцене завернусь, и ну их всех на хер.

– Эльвир... – робко сказала Маша.

– А в чем я «Таверну» буду танцевать, вот в этих шортах? Совсем, блин, озверели. Велели все репетиционные шмотки, у кого какие лишние, разобрать, и из своего обычного подобрать что можно. Я сейчас к Перегудовой, у нее две туники, говорят. Это для «Сна» пойдет. А еще сегодня вечером у кого-то из Щаповых день рождения, то ли у Аньки, то ли у Ольги. Ёпть! – вдруг схватилась она за голову, – они ж близнецы! Ну, я побежала. У тебя шоколадка, Маш, осталась? Давай я ее съем. Пока! Берегите себя! – добавила она ни к селу ни к городу, выбегая.

– Как ты доехала? – спросил Машу Свягин, присаживаясь на диван и по гастрольной привычке не обращая никакого внимания на новую обстановку. – Устала, конечно?

– Да Бог с ним, с переездом! – махнула рукой Маша. – Теперь уже не имеет значения. Как тебе этот город? Как он называется? Поставить тебе чаю? – сыпала она вопросами.

Свиягин опять внимательно посмотрел на Машу.

– Ты понимаешь, что означает завтрашнее выступление? – спросил он после некоторой паузы.

– Что? – спросила Маша, как будто снова, за время своего отсутствия, выпав из того строя речи и общения, что были присущи ей сутки назад.

– Ладно, – сказал Свиягин, – скажем проще. Это означает, что мы с тобой в дальнейшем будем существовать отдельно, находиться, так сказать, в противофазе. Ты приехала, я уехал; и так далее.

– А пластик?

– При чем тут... пластик? – запнулся от неожиданности Свиягин. – Я говорю о том, что своих декораций и костюмов у нас нет, и я каждый раз буду срываться раньше, чтоб вам было на чем и в чем танцевать.

– Ну какая разница, Сережа! – воскликнула Маша, – где и на чем танцевать! Главное, что мы – будем танцевать! И уже завтра! Ведь, правда, нет существа более нелепого, чем балерина, которая не танцует?

– Тебя надо в психушку, – сказал Свиягин после паузы. – Даже Станиславский считал, что если артист слишком усердствует, его нужно лечить.

– В вашей Конституции не записано, до какой степени артисту разрешено усердствовать. У нас свои законы, – осторожно улыбнулась Маша уголками губ.

– Говори, пожалуйста, от первого лица! – едва не вспыхнул Свиягин. – От себя и о себе! «Мы, мы, у нас...»

Маша вдруг встала, отошла к окну и, отдернув бархатную штору, молча стала смотреть в сгущающиеся сумерки, где уже горели миллионы разноцветных огней, вечерних фонарей и неоновых реклам, сливающихся вдаль в сплошную огненную реку. Она всплеснула руками.

– Можно мне, Сережа, спросить тебя по-русски: как я в последний раз, до всей этой остановки, танцевала?

– Хм, – сказал Свиягин, демонстрируя спокойствие. – Замечательно, бесподобно. Как же еще?

– Прилагательные, прилагательные, сам говорил. Всё не то. То есть, абсолютно ничего!

– Плохо танцевала?

– Тоже не то. Ноль за ответ.

– Была прекрасна несмотря ни на что, даже когда что-то не получалось? – еще предположил Свиягин.

– Ну, это оскорбление! – воскликнула Маша. – А что, у вас это может считаться похвалой женщине? – рассмеялась она. – Странно. Ставлю тебе единицу за знание балетной психологии!

– Может быть, так: глупа, как пробка, но танцевала замечательно? – не сдавался Свиягин.

– Уже лучше! – воскликнула Маша. – Хотя первую половину и хочется опустить, но она говорит о честности всего признания. Если какая балерина и обидится на это, то, скорее всего, покривит душой; да и обидится только, чтоб соблюсти внешние приличия. А так – неплохо, твердая тройка!

– Может быть, употребить сравнительную степень? – спросил Свиягин. – Скажем, ты танцевала лучше, чем Эльвира?

– Тройка с плюсом, – сказала Маша. – А если Эльвира танцевала хуже, чем обычно? И завтра станцует нормально?

– Тогда так, – нашелся вдруг Свягин, – все, кроме тебя, танцевали плохо. Просто отвратительно! И вообще, о ком бы речь ни зашла, тот танцует хуже тебя!

– Спасибо! – сказала Маша. – По-нашему это пять с плюсом. Такое могут сказать только настоящие друзья, которые тебе доверяют и не боятся, что ты передашь их слова жертве. Однако, и это не про меня.

– Я изучал историю театра, – сказал Свягин. – Все эти балетные ребусы очень напоминают мне стиль пекинской оперы, где непосвященному делать нечего. Там стол на сцене означает мост, шаг на месте означает уход, а если героя накрывают простыней, то он утонул в море. Так как же ты танцевала?

– А танцевала я так, – сказала Маша. – Если бы я в релее следила внимательней за опорной ногой, то пируэт вышел бы более устойчивым и аттитюд не сбился. Ты понимаешь, что я вся состою из этого?

– Эх напугала, – сказал Свягин, – «с дуба падают листья ясеня»! Я тоже могу спросить по-русски: как тебе строка поэта «Мысль изреченная есть ложь»?

– Замечательно, бесподобно, – в тон отвечала Маша.

– Всё не то. Если бы поэт внимательней следил за размером и не оставил бы вторую долю первой стопы безударной, то вышел бы не какой-то там дерганый хориямб, а отличный, чистый ямб четырехстопный. Именно! И я тоже состою из этого, однако, когда дело касается тебя, это не имеет для меня никакого значения. Я поэт, ты балерина, и я хочу спросить: ну и какого черта из этого следует? Стоит нам назвать себя по принадлежности к чему-то общему, ограничить рамками поверхностных определений, как мы тут же вынуждены соответствовать этим картонным стереотипам. Задача балерины непосильна, я знаю это. Ни одна балерина не успевает сделать всего, что хотела, на сцене. Однако, не надо себя обманывать, Маша. Я не только поэт, а ты не только балерина. Мы шире любых определений. Посмотри на себя, ведь ты совсем не похожа на своих. И ты сама знаешь это.

– Пекинская опера, – грустно усмехнулась Маша. – Это означает, что ты сказал самую неприятную для балерины вещь, какую только можно придумать. Это как часового похвалить: вот, мол, все часовые просто свой пост охраняют, а ты на посту еще и раздольные песни поешь! Молодец, мол, что ты такой особенный! Кстати, знаешь, как на самом деле меня хвалят педагоги? То есть, какая похвала может считаться для балерины наивысшей?

– Когда они не дарят своих цветов?

– Не только. И не за технику они хвалят. Техника это техника, ею сейчас мы все владеем. Тридцать два фуэте с завязанными глазами, на табуретке, в балетной компании на какой-нибудь вечеринке – пожалуйста, но это еще не танец. А наивысшей похвалой являются слова педагога: «Годунова *наиболее естественна – на сцене*». И ты знаешь сам, что после первого акта «Жизели» к артистке в антракте обращаться неуместно и бессмысленно – она плачет, не может успокоиться, что всё так ужасно у нее только что вышло с Альбертом; она минуту назад сошла с ума и умерла от предательства. Ей безумно жаль и себя, и своей любви – и какое-то время она просто невменяема. Да что там «Жизель» – в каждом антракте даже легкого и веселого «Дон Кихота» я вижу в зеркале не себя, а какую-то испанку, уличную танцовщицу, в которой от меня самой ни капли не осталось. Чужой образ захватывает тебя изнутри и вертит тобой, как хочет. И с окружающими после спектакля некоторое время разговариваю еще не я, а что-

то *постороннее* во мне. Жизнь на сцене – это не пустые слова. Ты понимаешь? Сегодня у меня по роли один партнер, завтра другой. В этом есть что-то от проституции, потому что, отдавая свою душу роли, растворяясь в ней, я вынуждена хоть немного, хоть ненадолго, но любить и того, и другого.

– Да и кто я сама такая? – вздохнув, продолжала Маша. – Кто мне скажет, на каком опыте я это проверю? Я и сама не знаю. Сегодня я испанка, завтра виллиса, послезавтра еще кто-нибудь. Кто я – настоящая? Иногда так запаришься, что становится даже не по себе: никто, ноль, моль бесцветная, и меня самой, Маши Годуновой, просто нет. И какая из моих душ, прости Господи, будет *там*? Испанки, что ли? Есть порог, который нормальному человеку нельзя переступить ежедневно.

– И все-таки, и все-таки... – прибавила Маша, как бы прислушиваясь к себе, – и все-таки, Сережа, если бы ты только мог понять, что это за чудо, что это за праздник – жизнь на сцене! – Маша говорила это горячо, чуть экзальтированно. – Я будто на крыльях всякий раз в ожидании летаю. Волнение уходит только с третьим звонком, и я как будто вся на старте. Я уверена в себе, я знаю, что тут всё надежно, как в обычной жизни не бывает. Я ссорилась пять минут назад с партнером – всё блажь, он сейчас сгорит для меня, выложится весь, ляжет, умрет, но отдаст мне себя всего. Рисунок танца – это моя кровь, гены. Я могу закрыть глаза! Я могу петь про себя другую музыку! Но я знаю одно точно: в этом пространстве сцены я приду туда, куда шла, и меня там всегда ждут, и будут ждать, чего бы ни случилось, и поддержат, где надо, и бережно подымут на руки. Там, на сцене, жизнь настоящая, потому что *надежная*.

Ты же поэт, ты сам знаешь, какая магия заключена в ожидании известного и свершившемся повторе. Это, наверное, как рифма: я приказываю по роли партнеру глазами и предчувствую ответ, и сама жду этого всякий раз, как созвучья, и волнуюсь, если партнер вдруг не успевает по музыке и не отвечает! Но вот ответил, всё сошлось, кольцо замкнуто, и это уже совсем другое качество, это...

– Постой, постой, – перебил ее Свягин, – ты не можешь разыграться до такой степени, чтобы понимать сущность поэзии. Что это с тобой?

– А почему ты считаешь, что можешь понимать мою сущность, балерины?

– Потому, что я могу не понимать тонкостей твоей роли, но сущность балерины понять несложно. При всем том, что ты имеешь неслыханную волю, способность тонко чувствовать и даже выражать свои чувства словами, сущность эта – пустота. Не похожа ли ты на губку, которая впитывает любые жидкости? Не сосуд ли это, который заполняется по мере необходимости любым составом? Лихачев сказал, что он не знает, что такое интеллигентность, но подделаться под это невозможно. Так вот, он – ошибается. Вы можете сыграть всё: и красота может быть ролью, и интеллект, и интеллигентность, и царская кровь, и подруга поэта, – всё зависит от обстоятельств. От этого и страшно за кулисами подойти к царице, над которой только что посмеивался в буфете; в ней уже нет прежнего человека, привычного своей посредственностью, но прежняя пустота заполнена теперь чужой сущностью, одолженной, взятой на время напрокат. С умными вы умные, с сильными – сильные, со святыми – святые, ну, может, искренне кающиеся грешники. Вы пустышки, перевертыши, неуловимые фантомы. У вас полрта улыбается, половина рта – плачет. Обладая полнотой всех доступных человеку воплощений, вы в жизни являетесь кем угодно по обстоятельствам, и, вместе с тем, определенно – *никем*. Настроение собеседника воздействует на вас до степени едва ли не полного перерождения, не то, что личностного, но и внешнего, физического.

– Пустышки и перевертыши? А почему же зритель бывает так потрясен этой волной искреннего чувства? Слезы зрителей – отчего?

– Вся разгадка в том, что вас нет – без танца. Вы настоящие – на сцене, и только глядя на вас из зала, вам можно верить. Вся артистическая фальшь в быту, все эти кривляния, которые обычных людей так раздражают, это не просто «отходы от танца», нет. Это – ваша растерянность и неумение быть чем-то другим, ваша защитная реакция в отсутствие того единственного, что составляет ваше истинное лицо, того единственного, в чем вы сильны – игры на сцене. Вы без сцены поставлены в несвойственные вам, неестественные условия. Вас и впрямь нужно лечить, ибо вы не чувствуете разницы меж игрой и жизнью. Настоящую жизнь вы объявляете «недействительной», а ее нормы и свойства для себя необязательными. Но то, что хорошо и естественно на сцене, в жизни ни с чем не совпадает, глупо и фальшиво без танца! «Нет существа нелепей, чем балерина, которая не танцует»? Это – упаковка без подарка, оболочка без содержимого, блестящий целлофан, перевязанный ленточками, куда – что ни пакуй, все покажется уместным и весомым. Ты прекрасна внешне, ты действительно хороша. Это внешнее совершенство предполагает и какое-то внутреннее ответное равенство. Но его нет без танца, а я не могу оторваться от этой красоты. Что тут, собственно, можно полюбить? То, как ты воздушно сходишь с подножки автобуса и, скользя телом меж припаркованных машин, изящно застегиваешь кнопку на рукаве?

– Сережа! – Маша чуть не плакала. – Ты валяешь дурака. Ты выворачиваешь всё наизнанку сознательно, зачем-то обостряешь ситуацию. Это твой стиль, ты осматриваешь любой предмет со всех сторон. У меня голова идет кругом. Я собачьи привязываюсь к тебе, привыкаю. Но я боюсь наших различий. У тебя ведь тоже свой мир, не всегда доступный и обычному пониманию, не то, что балеринскому! Я хочу быть с тобой, и не могу отделить себя от других – что же мне делать? У нас в балете всё это как-то... по-другому, что ли. У нас узнают друг друга проще, механичнее, по поступку, по жесту, по внешности «своего». По жалобе на «отекающие мышцы». А ты как будто хочешь от меня еще чего-то невозможного.

– А у нас друг друга узнают прежде по случайно оброненному слову.

– Мне это трудно понять. Слово мало что значит. Что слово? Его может сказать всякий. Слово не более весомо, чем голое название танцевальной комбинации. Зачем поднимать такие тяжести? Зачем пытаться назвать *всё это* словами?

– Я не идиот и не говорю, что можно понять друг друга до конца, проговорив всё словами. Но я знаю вещи, которым объятия ничего не добавляют. Я играл и буду играть не по правилам. Я хочу понимания.

– Господи! – всплеснула руками Маша. – Что же это такое? Глупость, Сережа, нелепость какая-то! Всё не так, все наизнанку! Ты действительно не хочешь, чтобы у нас всё было нормально! Зачем нужны еще какие-то... слова?!

– Ты не поняла ничего. Нормально – не хочу.

...Молчавший до того телефон вдруг забулькал какими-то издевательскими, будто передразнивающими наших героев, звуками. Звонила Эльвира.

– Ладно, ладно, – сказала Маша в трубку. – Сейчас? Почему сейчас? Нет, я помогать не ходила и не пойду.

Безысходное состояние коллективности и приговоренности к общему делу стало требовательно напоминать о себе с приближением вечера. Вслед за Эльвириным звонком раздался стук в дверь, чересчур требовательный для обычного

стука. Закрытая дверь была стучавшему, видимо, в новинку. Послышался звонкий девический голос:

– Эльвир! Ма-аш! Чего заперлись? Отчиняйте калитку!

Это была балерина по прозвищу Урсула, в честь ведьмы из диснеевского мультфильма. Каким-то чудом будучи еще не извещена о последних новостях и не ожидая увидеть в номере Свягина, она воскликнула обрадованно:

– Свягин! А ты как тут?!

– Я-то тут еще так-сяк! – рывкнул Свягин. – А ты как?!

– Я отлично, отлично! – зачастила Урсула. – Но сегодня никаких любовей, сегодня все – под знамена, сегодня гудим, шире шаг, труба зовет! До светлой зари!

– Маша, – сказал Свягин, – у меня какое-то дурацкое ощущение, что к нам пришел Маяковский.

– Маяковский, не Маяковский, – не смолкала Урсула, – а времени в обрез. Эльвира уже свинтила к Щаповым? Маш, ты обещала...

– Я сейчас никуда не пойду, – сказала Маша. – Мне нужно пока тут.

– Тут ей нужно! – изумилась Урсула. – Да зачем же именно *тут*? Айда к Щаповым, там же *люди*, какая разница, где вам сидеть, чем их номер хуже? К тому же, мы все своими личными делами занимаемся, но не в ущерб же колхозу! Колхоз – превыше всего!

– Точно, Маяковский, – констатировал Свягин сухо.

– Тебе еще нужно Дубовицкую с Ляшенко Юлей помирить, – с деловитостью секретаря скороговоркой подобжала Урсула, – а то ни одна из них не идет к Щаповым. Юля уже согласна, если Дубовицкая согласится, но Дубовицкая слушает только тебя. Так. Еще тебя Богун Алиса ждет, чтоб ты ее к Щаповым отвела, она до сих пор ни с одной компанией не сошлась. Просила тебе передать, только с тобой пойдет. Так, еще. Тряпки сегодня, пока все наши девки вместе, разделим. Мне какую-нибудь юбку нужно цыганскую и шаль, верх пусть будет любой, а розу суну в голову – настоящую.

...Урсула говорила это, и как будто недоумение читалось на ее лице оттого, что ее кавалерийская атака не действует на Машу. После нескольких произвольных прикидок нового образа лицо ее приняло умильно-умоляющее выражение, на глаза навернулись настоящие слезы.

– Машунечка! – всхлипнула она. – Ты такой пусик, лапочка. Я так тебя люблю! Ты знаешь сама, что я никого так не люблю! Свягин! Ты тоже пусик. Ну пойдете же к Щаповым!

– Хорошо, потом, потом, – говорила Маша, чуть не насильно сопровождая Урсулу в сторону двери.

– А ведь терпеть меня не может! – взорвалась она, когда Урсула ушла. – Пойми мою любовь ко всякой похвале! Это мы – балет! Никто в этом дурдоме не хочет понять, что происходит. Тут двух слов не успеешь сказать, а еще и... – Маша запнулась. – Что будем делать с днем рождения-то, кстати?

– Да меня не приглашал никто.

– У нас не приглашают. У нас сами приходят. Более того, обязаны придти те, кто хочет выразить, хм... свое расположение к человеку, единство с его окружением.

– Там, вроде, два человека.

– Да. Но окружение-то одно.

...Постучал и зашел сияющий Майданов. Наткнувшись на шальной Машин взгляд, он, не утруждая себя вниманием к деталям, сказал торжественно:

– Я – к Свягину!

– Ну вот, хоть какое-то разнообразие! – воскликнула Маша отчаянно.

– Сергей, тебя уже твои ребята обыскались, – с удовольствием сообщил Гарик. – Они сами сюда звонить не решаются... по известным причинам! – добавил он многозначительно. – И когда мы пересеклись в лифте...

– Спасибо, друг, – сказал Свягин, вставая, – тебе известно, что такое в балете пассе?

– Естественно, – удивился Гарик.

– А шассе?

– Ну да.

– А что такое комбинация пассе через шассе, знаешь?

– ?

– Это значит, друг, сходи пописаи через дорогу. Пойдем, я провожу тебя до двери.

Он закрыл дверь за артистом и сказал Маше натужно:

– М-м... Сколько волка ни корми, а он э-э... влез и смотрит!

– Ты, наверное, уже острить устал! – съехидничала Маша.

3.

Все теплые слова об именинницах, какие только мог припомнить Свягин, проходя с Машей по бесконечному коридору, оказались вдруг бессмысленными при входе в щاپовский номер и звучали бы страшным диссонансом той атмосфере, которая тут царила, случись Свягину произнести их. Наш герой, прикидывая в уме входной тост, хотел сказать нечто, хоть и отдающее стилем семейки Адамс, но, тем не менее, вполне приемлемое.

Однако праздник жизни, совершающийся здесь, сразу же выбил Свягина из колеи, обнаружив всю нелепость свягинского планирования. Одна из сестер отсутствовала, так и не появившись в этот вечер. Другая, Ольга, с сосредоточенным лицом прыгала на огромной кровати, как на батуте. Казалось, тут и не предполагали о другом способе приема гостей.

Здесь можно было или говорить, или прыгать – Ольга прыгала. Свягину прыгать не хотелось, но в разговор он тоже вступить не мог без того, чтоб не попасть в эту волну всеобщей восторженной речевой бессмыслицы. Номер был полон, народ шумел.

– Какая она пусик, лапочка! – восклицала Урсула, восхищенно глядя на Ольгу. – Ну как такую кисоньку не обожать!

– Золотце, как она хороша! – восхищались другие.

– Оленька, ты сама вшивала эти кантики в планочку? Чудо, как тебе идет! Вот здесь бы на платье вставочку сетчатую сделать, отпад будет! – говорил кто-то еще.

Одним из подарков гостей были песочные часы, впаянные в стеклянный куб, стоявшие теперь в центре фуршетного стола. Они были подарены, разумеется, не в связи с философским подтекстом о быстротечности времени, а по причине симметрии колб, намекающей на сестринский дуэт. В этом намеке не было никакого осмысленного образа, когда бы именинница изредка не комментировала действие часов:

– Во, из Аньки песок посыпался! Во, а теперь – из меня!

Свягин сидел молча, сжимая в руке свою порцию джина и держа на коленях тарелку с канапе и маслинами. Маша порывалась было поучаствовать в общем веселье, расплывшись в улыбке и готовясь вставить какую-нибудь собственную глупость, но, найдя себя вдруг как бы смотрящей на гостей глазами Свягина, осеклась.

– Пусичка, прелесть! – раздавалось еще по адресу именинницы.

Однако невозможно было балетному кругу сосредотачивать всю силу внимания на одном человеке более десяти минут. Невыносимым для каждого из присутствующих оказалось оставаться в тени самому лично больше положенного срока. Это нарушало законы построения мизансцен: по простествии самой затяжной вариации солисты, следуя естественному развитию сюжетной линии, должны были меняться. Задержка представлялась абсурдной даже физиологически.

Исход вечера был предрешен. Выпитый гостями джин начал действовать. Поначалу выбегали в коридор, откуда доносилось:

– Что ты ей сказал?

– А чего я ей такого сказал?

– А чего она в слезах убежала?

– Остановите, верните Юлю! – кричали за спиной у Свягина.

«Разборки полетов», выяснения, что случилось и кто виноват – быстро привели к еще более конкретному результату. В номере поднялся крик, всё пришло в движение, кто-то заплакал навзрыд. Фальшь, будучи в избытке, начала действовать в обратную сторону, вынося наружу «горькую правду».

– Я всегда знала, что ты дура, но ты, оказывается, еще и б...дь?!

– Я – б...дь? Да это ты – б...дь! А мы с ним танцуем!

– Таня, Таня, успокойся! Успокойся, прошу тебя! Твою мать! Я кому сказал, успокойся!

– А чего она мне такую херню ле-епит? Пошли все на...у-у-й! – горько плакала та, которую называли Таней.

Свягин с Машей, к этому времени уже незаметно перебравшиеся на бескрайний балкон с балюстрадами, в одну из минут вдруг заметили, что сквозь грохот магнитофона из комнаты не раздается больше никаких других звуков.

Они вошли с балкона в номер. Номер был пуст и разгромлен. Песочные часы валялись на полу в проходе между кроватями, залитые липким ликером.

– Ничего себе, единство пришли выразить... – пробормотала Маша ошарашенно.

...Однако, праздник на этом, как и следовало ожидать, не закончился. После полуночи народное гуляние стало растекаться по всему отелю, на этажах зазвучала музыка, слышались смех, возгласы и крики; забегали ошалелые портье, зазвонили телефоны с просьбами – но балет и слышать ничего не желал о прекращении торжеств, требуя еще и открытия бара, и едва ли не салюта. Все были решительно настроены – провести последний день отдыха ударно, по полной программе, – и гуляли, и наслаждались прощанием с ним.

Свягин с Машей попытались было вернуться в ее номер, но там пьяная компания под дверями, в ожидании общения со счастливой парочкой, горланила и отплясывала что-то варварское. В номере же Свягина на столе отплясывала Эльвира, под радостные притопы и прихлопы хмельного Фанерыча и завпоста Казимирыча, тоже, впрочем, хмельного. Наши герои пытались было спрятаться

на лестничном пролете пожарного выхода, и Свягин даже обнял Машу, как вдруг уже целые толпы повалили по лестнице сверху и снизу, одновременно, как по команде.

– Почему одни?! – радостно визжа, бросилась обнимать наших героев Урсула.

Свягин был едва ли не в шоке.

– Это что же, – спросил он у Маши угрюмо, – я должен теперь, как Маугли, жить среди вас? Я что, получил в нагрузку весь этот обезьянник? И всё вековое русское хореографическое наследие? Хм. Славная семейка! Параша Жемчугова мне кем, стало быть, приходится?

4.

С этого же времени для коллектива началась невиданная доселе черная полоса неудач.

В Босано-дель-Граппо, где работали на открытой площадке, неожиданно пошел дождь, и спектакль пришлось отменить. В городе Луго повторилось то же самое. Нырнули было в Авеллино, но сломался автобус, и к началу представления успели только зрители.

И – покатило. Какая теория случайных чисел могла бы объяснить, почему кубик, где заложились на единицу, подбрасывался бессчётное количество раз, а единица выпадать всё никак не желала? Погода испортилась насмерть, а автобус «взял себе за правило» выходить из строя с издевательской регулярностью. Начинало пахнуть фатализмом, опыт нашептывал о том, что удача ушла и о бессмысленности новых попыток.

Наступил период *жизни под лестницей* и сидений на чемоданах в нервном ожидании очередных внезапностей. Слова «отель», «номер», «кровать» благополучно ушли из обиходной речи. Крыша над головой стала не по карману.

Единственный, желанный, ставший притчей во языцех спектакль – всё никак не давался. Но опять мелькали города, автобус ломался и шел дождь.

Уже происходящее казалось чьей-то коварной, чудовищной постановкой – автобус ходил по кругу, через пару-тройку дней возвращаясь с тем же результатом на то же место. Поначалу, когда предстоящий переезд мысленно делился жителями автобуса на отрезки, люди говорили: еще полпути, еще треть, еще четверть. Теперь же, когда в силу вступили вещи, негодные для расчета и логического осознания, и начала и концы перепутались, осталась одна мера – разделение всего происходящего с людьми на день и ночь. «У нас никогда не бывает завтра, – угрюмо отгачивали свое остроумие по этому поводу путешественники. – Ведь нынешние три часа утра принадлежат времени сегодняшнего дневного переезда, а говоря о завтра, мы ошибочно подразумеваем день послезавтрашний».

Вскоре и затею с ночными бессмысленными катаниями пришлось бросить. К вечеру останавливали автобус где-нибудь у обочины и укладывались спать.

Это было, это всё уже было. Круг замкнулся, повторы взяли верх над психикой. Бессмысленная езда по кругу измотала, высосала последние силы, последнюю волю к жизни. Коллектив обезденежел, изголодал, стирался в горных реках, спал в сиденьях или на земле, подстелив разодранные коробки, пледы и свитера.

Через две недели появились первые признаки психических расстройств. Некоторые начали заговариваться явно, но и почти все прочие находились уже на грани меж нормой и неведомой ранее областью, ласково именуемой в прежней жизни «тараканами» и «пулей в голове».

5.

Автобус стоял у кромки леса. Была ночь, редкая в последнее время – с чистым звездным небом. Посреди поляны горел костер, сыпавший тучей искр. Поскольку его горение длилось уже некоторое время, звездное небо казалось усыпанным его первыми искрами, уже достигшими небывалых высот. Часть труппы ворочалась в автобусе, пытаясь уснуть, остальные сидели у костра или прохаживались невдалеке, пили пиво, прикуривали от головешек.

Из автобуса вышли Свягин с Майдановым.

– Ну, как там? – подошла к ним Маша.

– Ну, ладно, я пошел, – устало сказал Майданов, глядя на Машу исподлобья.

– Как там, Сережа? – переспросила Маша.

– Гм-м, – сказал Свягин, как бы находясь в состоянии некоторого оцепенения и теперь пытаясь стряхнуть его с себя. – Гм-м, да. Пора брать отпуск, как сказал Терминатор.

– Сережа, не тяни. Как там Дина?

– Средненько, – отвечал Свягин. – Весь народ хоть как-то спит урывками, проваливается, забывается на время, а у этой уже пятые сутки пошли без сна. Гarik хоть с горем пополам скормил Собакину пару таблеток элениума, а Дина от всего отказывается. Как тебе всё это? Кстати, Майданов хоть с дуба и рухнул в смысле мозгов, но если старается первенствовать вот так, через помощь больным, то это может только радовать. Ладно, пойдем к костру, погреешься, ты замерзла вся. Ну и ночи здесь, южные.

Они подошли к костру. Тут шел оживленный разговор.

– Нужно потребовать от руководства! – горячо говорила Урсула. – Почему нам не выписывают репетиции, классы? Они что, сами не понимают? Я теряю форму! Я хочу танцевать!

– Урсул, ты еще не натанцевалась в этой поездке? – устало осаживали ее.

– Я хочу еще! Я хочу танцевать! Нужно потребовать от руководства!

Переводчица Катя, которую связи и знакомства в министерских кругах не в добрый час занесли на эти гастроли, участливо кивала:

– Да, да, Урсулочка! Да. Я тебя понимаю. Я ведь тоже не у дел. Уже более двух недель в местных газетах ни одной рецензии на наши выступления, ни одного интервью. Это настораживает. Публика может подумать, что мы перестали пользоваться успехом. Но посмотри на свои проблемы с другой стороны. Я, например, счастлива только теперь открывшейся возможностью читать по ночам. Вы знаете, дорогие мои, мне с самого детства не разрешали читать по ночам! Особенно бабушка. «Бабушка» по-немецки, кстати, будет: «ома», а как по-итальянски, я, к сожалению, забыла. Надо будет вспомнить. Я ведь специалист по флорентийскому искусству, не говоря уже о том, что переводчица. Вы спросите, какая тут связь? Но вот что я знаю точно, вот что обнадеживает. Ведь, согласитесь, если связать это мое нынешнее ночное чтение с искусством Флоренции, многие сегодняшние проблемы разрешатся сами собой. В этом вся тонкость. Нужно только вспомнить, как будет «бабушка» по-итальянски, в этом тоже многое заключено. Я думаю в крайнем случае попытаться это как-нибудь перевести с немецкого.

– Маша, выпьешь вина? – спросил Свягин, усаживая Машу к огню и укутывая ей плечи тяжелым свитером.

– Да нет, Сереж, вина не хочу. У тебя водки нет? Хочется согреться, и все такое.

– Откуда тут взяться водке?

– Ну, ладно, вина, только чуть-чуть.

– Коллега, не хотите ли вина? – предложил Свягин переводчице Кате.

– С удовольствием, Сережа. Какой вы добрый, чуткий человек. Какие вы все добрые, замечательные! Как я счастлива!

– Ухтомцев, винище будешь? – предложил Свягин и осветителю Ухтомцеву, угрюмо смотрящему в пламя костра.

– Нет, спасибо, я сегодня побрился, – уклончиво отвечал тот.

– Катя права, – сказала подруга Урсулы, Юлия Ляшенко. – Ведь вдумайтесь, наши нынешние проблемы только в том и состоят, что мы не можем связать в одно целое разные вещи. Всё расплывается, всё как-то не связано друг с другом. Мы с Урсулой, например, пели утром в лесу на два голоса, но разные песни. Понимаете, в чем загвоздка? Невозможно два мотива связать в один, приходится обязательно выбирать что-то одно. И одной из песен пришлось бы пожертвовать.

– Вот мою песню бы и пели, – недовольно буркнула Урсула, – почему обязательно нужно связывать в одно? Замучила уже меня своим связываньем. Послушайте, мне прошлой ночью только удалось уснуть, а она меня тормозит. Я говорю: «Что случилось?» А она, представьте себе: «Я уснуть никак не могу, сомнения одолели, мысли всякие». – «О чем же?» – «Слушай, я всё думаю, не могу понять, почему у певца Игоря Николаева волосы белые, а усы – черные?!» Ничего себе вопросы в полтретьего ночи! Если б танцевать – то пожалуйста, никаких проблем. Я всё время хочу танцевать, но одна как-то не решаюсь, неловко. Я еще из ума не выжила, в отличие от некоторых.

Возникло молчание. Потом осветитель Ухтомцев, хлопнув комара, произнес какую-то загадочную фразу:

– Не того убил.

– Действительно, почему? – спросила Таня Перегудова.

– Что, «почему»? – переспросила Урсула.

– Почему усы черные, а волосы белые? Странно как-то.

– Ну, уж этого я не знаю, разбирайтесь сами.

– Да, с деньгами и жратвой лажа, – сказала Эльвира Чулкова. – Я, блин, недавно на стоянке такую шляпку себе присмотрела, полная чума! Побежала к директору, дайте, блин, суки, хоть на шляпку, в долг же прошу, не подарить же! Во! – она обвела собрание кукишем. – Даже на шляпку не дают!

– Ага, жди! – подхватила Урсула. – Так они тебе и дадут на шляпку! Чего захотела! Они нам репетиции выписать не могут, а ты: шля-я-пку! И чего тебе далась эта шляпка? Ты же всё равно в ней танцевать не будешь.

– Девки, а сколько перевод идет из Москвы? – спросила балерина Дубовицкая, которую в свое время Урсула пыталась помирить с Ляшенко.

– А черт его знает, смотря куда. А что тебя интересует?

– Да мне уже по срокам муж звонить должен. Я могла бы попросить его прислать хоть немного денег, хотя бы на ближайшие дни, пока не выдадут.

– Дура, это просто так не делается, – сказала Урсула. – Здесь куча тонкостей. Во-первых, в какой валюте пересылать. Не в рублях же. Лир, наверное, у него нет, можно переслать в долларах. Во-вторых...

– Мне бы тоже выйти замуж, – сказала переводчица Катя, – но у меня, говорят, неуживчивый характер. Знаете, я была такая ненормальная, чопорная до этой поездки. Но теперь никому не завидую, а только всех люблю. Я так счастлива.

– А, по-моему, валюту нельзя пересылать по почте, – робко возразила Алиса Богун, которая прежде «не сходилась ни с одной компанией», – могут отказать. Тем более, нам сейчас во всём отказывают.

– Да какая им разница! – воскликнула Дубовицкая. – Там отдали, тут получили. Может быть, муж уже и выслал. Надо как-то предупредить его, чтоб не звонил.

– А одолжишь на шляпу? – спросила Эльвира. – Сказать честно, что-то мне эта шляпа, блин, засела в мозгу. Как ни усну, всё снится. Я поэтому и не ложусь. Надо купить, чтоб перестало.

– Конечно, одолжу. Вот только деньги придут.

– А когда? И куда деньги придут? В какой город?

– Я не знаю. Нужно у администратора спросить, куда обычно переводы приходят?

– Вы чего, девки, совсем с ума сбрыкнули? – сказала Юля Ляшенко. – Вас что, учить надо? На главпочтамт любого города.

– А какого?

– А я откуда знаю? Спроси у администратора, не рассыплешься.

– Что, так и спросить: куда мне перевод придти должен?

– Так и спроси.

Так за разговорами прошла ночь. Рассвело. Стылое утро наполнилось щебетом птиц, потом солнце пронзило насквозь, навывлет, кроны ближайших к поляне деревьев. Из числа бодрствовавших половине удалось уснуть к этому времени. Они спали вповал или спина к спине, накинув на головы куртки и пледы. Просыпались счастливики, спавшие с вечера. Из-под груды картона выполз заспанный, взлохмаченный звукорежиссер Шура.

– Ну что, колхоз имени Ваганьково, проснулись уже? – обратился он к тем, кто еще не ложился. – Родина слышит, Родина знает, где ее сын в облаках пролетает! А распогодилось-то, распогодилось! Так, глядишь, и спектакль сегодня дадим! Будете свою *фуэту* крутить! Ах, да, – стукнул он себя по лбу, – автобус-то сломан. Не починили?

– Каким бы целебным ни было пьянство, – мудро сказал Свягин, – но давай уже к нам, на землю. Сломан он был позавчера, а вчера мы весь день катались как чумные. А у тебя даже времени шизануться нет, в каком ты состоянии. Вспомни. Сегодня едем в Турин.

– Ага! – сказал Шура, обводя окружающих глазами и поправляя под собой картонку. – А то я не на земле! Однако, знаю я этот Турин. У нас этих Туринов уже нечитано.

– Чертов сортир! – проходя мимо, говорил сам с собою осветитель Ухтомцев. – Ты его обыщешься, а он в двух шагах. Так. Тут еще мост, говорят, есть, в километре. Эх, рвануть бы! А, кстати, Машенька, – обратился он неожиданно к Маше, только что проснувшейся на груди у Свягина, – кх-м... Можно мне на минутку отобрать у вас моего боевого товарища? Я вам его мигом верну.

Они отошли в сторону, и Ухтомцев, замаявшись, сказал:

– Тут такое дело... это... ну...

– Чего ты мнешься?

– Не удивляйся только... Ты не мог бы проводить меня в туалет?

– ?

– Понимаешь, ерунда какая-то. Я один боюсь. Не знаю, что на меня нашло, но боюсь почему-то один и всё.

– Ребята, вы куда? – спросил их Майданов.

– В сортир, – энергично отвечал на ходу Свягин.

– Возьмите мне пивка баночку. Я деньги сразу отдам.

– Если в сортире торгуют пивом, обязательно возьмем, – пообещал наш герой. – Тебе какого?

Артист обиделся и отвернулся.

Неожиданно к поляне с погасшим костром и наваленными вперемешку телами подкатила «Альфа-Ромео» импресарио с администрацией на борту (все они ночевали в придорожном отеле и последние дни перемещались отдельно от трупы. Такую разницу в «сервисе» они объясняли «статусом руководства» и старались не замечать происходящего с людьми: «Трудно? А кто сказал, что артисту должно быть легко? Кому не нравится – пусть увольняются по приезду!»).

Худрук вылез из машины первым.

– Всех с добрым утром, друзья!

– С добрым, Вениамин Петрович, – раздались нестройные голоса.

При виде худрука звукорежиссер Шура мелким бесом перебежал к своему спальному месту, демонстративно зарылся в коробках и оттуда глухо, как из могилы, прококотал:

– Как спалось, Вениамин Петрович?

– Спасибо, неплохо! – хитро заулыбался худрук. – Но за такие остроты в следующий раз буду срезать переработку!

– За такую переработку, – не растерялся звукорежиссер, вылезая из-под груды картона, – буду в следующий раз срезать частоты! А руководству – импичмент! – вдруг понесло его еще. – Какое-то повальное увлечение – срезать мне переработку! Боже! Кто мне ее только не срезал! У меня уже на три жизни вперед переработок срезано! Импичмент!

– Ну ладно, к делу, к делу! – заулыбался вновь худрук. – Где же наш Лев Казимирович?

– Вениамин Пер... Петрович! – уже выныривал перед худруком завпост Казимирыч, странная смесь свягинского приятеля и его же начальника, ровесник Свягину, но вместе с тем человек, одержимый каким-то нелепым, ребяческим стремлением быть солидным и значительным в глазах окружающих. – Докладываю! Вверенная мне постановочная часть к проведению ответственного мероприятия... э-э... по проведению спектакля... (он был пьян уже вторую неделю, резонно не веря ни в какие спектакли) ...э-э, черт, два раза «проведение»... черт, простите. По проведению ответственного шоу... А-а, ч-черт, при чем тут «шоу»? И опять «проведение», черт! Путём осуществления... В общем, мы готовы!

– Лева, – участливо спросил худрук, – это не ваша видеокамера вон там, у обочины, валяется? По виду ваша. Мы на нее чуть не наехали.

– Во, итит твою... то есть, простите... Радость-то какая! А я думал, усё, потерял! Усё, думал, каюк! Моей видеокамере! Служу... То есть... Спасибо советскому... а-а, черт, не могу, запутался... черт, простите!

– Подхалимажем это, пожалуй, назвать трудно, а? – лениво обронил звукорежиссер Шура Свягину.

– Да, он не лицемерит, – согласился Свягин.
– Много отсняли? – спросил худрук у Казимирыча.
– Что вы, Вениамин Пердо... Петрович! Какое там много! Югославию в основном!

– А Италию?

– Да всё как-то недосуг!

– Друзья мои! – обратился Вениамин Петрович к небольшой кучке обступивших его. – Мне не хочется вас понапрасну обнадеживать, но, по-моему, сегодня именно тот день, которого все так ждали! Турин дал подтверждение на спектакль, друзья мои! Может быть... Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Мы дадим наконец этот спектакль! Мы дадим – и уедем из этой солнечной... – тут у него вырвалось: – ...гребанной, задрипанной, поганой Италии! Ура! В Турин! В Турин!

– Веня! – застонал итальянец-импресарио. – Я понимаю по-русски!

– Ура! – закричала Урсула. – По коням! Даешь! Ну, наконец-то! Я буду танцевать, я знала, знала, знала, что так будет! Я буду танцевать, пока не грохнусь об пол замертво!

Она заплакала. Кто-то, ближний к Урсуле, обнял ее за плечи.

– В Турин! – вопили все, не помня себя от радости.

– В Турин! – пели птички и шелестели листья.

В Турин.

6.

– Надо идти побираться, – сказал через пару часов Фанерыч. – Казимирыч, ты умеешь побираться?

Шура с завпостом сидели на песчаном пригорке в тени, прямо у автобусного колеса и распивали уже второй – после очередной поломки автобуса – пакет вина. Шура был чуть-чуть навеселе, Казимирыч же «плыл» на глазах.

– Как это, побираться? – стараясь попасть взглядом в Фанерыча, спрашивал он. – Чь-чо ты имеешь в виду?

– Ну, на дудочке играть умеешь?

– А хрен там уметь, – бодрился завпост. – Наливаешь и играешь!

– У меня дедушка был гипнотизер, – нагло врал Шура. – Хочешь, Казимирыч, тебя загипнотизирую?

– Смотри на что. Да, мля, смотри на что. Давай еще по дозе, а потом загипно... зи... тируешь!

...Очередную поломку большинство гастролеров восприняло на удивление смиренно. Облюбовав небольшую площадку в тени лавров, усыпанную пляжной галькой и отделенную от шумящего в стороне автобана зеленой стеной зарослей, путешественники расположились, тупо понатаскав пледов, надувных подушек и картонных коробок. Посреди бескрайних полей и тридцатиградусного пекла тут был островок некоей цивилизации – деревянный тент, пара скамеек, мусорный бак и декоративное костровище. Здесь, видимо, бедолагам и предстояло заночевать.

«Альфа-Ромео» с руководством, на всех парах рванувшая в Турин, все никак не возвращалась, хотя застрявших путешественников по срокам давно должны были хватиться. Солнце уже стояло в зените, часть народа завалилась спать от скуки, часть же предпочла хоть как-то действовать. Через переводчицу Катю узнали у водителей место остановки, сверились с картой. До ближайшего населен-

ного пункта выходило пешего ходу что-то вроде: «сначала прямо, а в пятницу направо», но по пути могли подвернуться мелкие придорожные маркеты – чтоб запастись питьевой водой и закупить фруктов подешевле. В числе людей, берущихся совершить вылазку, был и Свягин. Собравши по кругу некоторую сумму денег, они отправились в путь по обочине автобана, по полуденному пеклу.

Отсутствовали гонцы около трех часов, но вернулись героями. Сбившись в кучу, повеселевшие путешественники пили теплую воду из пластиковых бутылок, ели яблоки и апельсины. Свягин лежал в тени, Маша чистила ему апельсин. Общее сумасшествие как будто немного поутихло.

Но вдруг Свягин ужаснулся от того, что услышал. Прямо у него за спиной раздался бодрый голос Фанерыча:

– Колки не выбрасывайте, люди! Есё цйй будем с ними заваливать!

Свягин пораженно приподнялся на локте, потом сел, повернулся на голос.

Его начальник Лев Казимирыч и Шура Фанерыч стояли поодаль и вели разговор на каком-то диком языке, невообразимо ужасающем, имитирующем то ли детский беззубо-шепелявый, то ли анекдотично-дебильный. Шокировало то, что разговор этот велся на полном серьезе и на серьезную тему. Единственным, что оправдывало говорящих и могло дать объяснение феномену, было то, что оба они, Казимирыч и Шура, были вдрызг, нечеловечески пьяны.

Казимирыч, обхватив Шуру рукой за шею, говорил, угрюмо сопя и едва не плача от обиды:

– Фанельць! Сказы мне, какой влаг насобацил фломастелом на мусолном баке эту цюс: «Здесь зыл и питался Лев Казимирыч»? А-а? Длуг, Фанельць! Обидно ведь до узаса!

– Навелно, Вениамин Петловиць написал. Его поцелк, – уклончиво отвечал звукорежиссер, не беря себе за труд объяснить откуда тут было взяться худруку, но при этом поглубже упрятывая фломастер в карман.

– Да не, длуг, я его поцелк знаю. Тут какой-то длугой мелзавец посталался.

– Ну, не поцелк, стиль, – напропалую врал Шура, сипилявя. – Но тоцьно он. Днем плиеззал. Ты на полцясика уснул, а он злобно нацалапал.

– Во гад! То есть, хм... ну ладно, лаз так. Хоть и неплавда.

– Вам что, зубы повыбили? – изумленно спросил Свягин. – Эк вас заклинило! Вы-то хоть не шизуйте, придурки! Гипнотизеры!

– Сто-о-о? Сто он несет, Фанельць? Чичь! То есть, я хотел сказать, цыц! Ты как с нацяльником лазговаливаес? А? Ласпустились! Смилна-а-а!

– Плавильно! – поддакнул Шура. – Сцяс молду набьем!

Окружающие лениво сообщили, что звукорежиссер с завпостом говорят на этом языке уже более двух часов, втянулись и никак не могут перейти на нормальную речь. Заводилой, конечно же, оказался лингвистический хулиган и с недавних пор гипнотизер Шура. Свягин это понял по тому, как Казимирыч с Шурой периодически схватывались:

– Целт! Это ты, Фанельць, меня залазил! Давай, длуг, узе пелеходи на лусский! А то вдлуг заклепится!

– А мы на лусском и говолим! Только на неплавильном! – Шура хитро прищурился. – Но зато все мателные слова, несмотля ни на сто, плоизносятся нолмально, по-сталому! Я пловелял!

– Фанельць, длуг! – едва не плакал Казимирыч. – Не могу зе я с людьми только матом лазговаливать!

В силу того, что *подобное вызывает подобное*, Шура «наколдовал» худрука. Из неожиданно подъехавшей машины вышел легкий на помине Вениамин Петрович. С утра значительно уйдя по трассе вперед, наших путешественников начальство хватилось только после своего обеда в придорожном ресторане.

Худрук вышел, импресарио и администраторы уже и носа не высовывали. Вениамин Петрович подошел к Льву Казимировичу, Казимирович встал по стойке смирно и заплетающимся языком, натужно пытаюсь обрести пусть уж не совсем трезвую, то хотя бы нормальную речь, доложил:

– Вениамин Петло... Петровиць... Петрович, целт! Докрадываю! Докла...

– Что это вы докрадываете тут? – насмешливо спросил худрук. – И что, много уже украли? Ну ладно, ладно, докрадывайте, раз без этого не можете!

Лев Казимирович внезапно побледнел, видимо восприняв эти слова по-своему. После короткой внутренней борьбы, которая происходила в его душе и была для окружающих как на ладони, он вдруг встал вразвалочку, без тени подобострастия, гордо и презрительно скривился:

– Это сто, намек? Баки там мусолные и площе? Намек, а? Я лаботаю цестно, ем – свой хлеб! А вы, вы, Вениамин Петловиць...

– Какие баки, о чем вы?! – изумленно пробормотал худрук. – Какие баки, что с вашей речью? Вам... Вам к зубному врачу нужно...

Продолжая с недоумением и страхом смотреть на Льва Казимировича, он обратился к Шуре.

– Александр! Дело серьезное. Да. Это почти невозможно, но я буду просить сегодня туринскую мэрию разрешить нам выступление у них завтра. Или... послезавтра. Может быть, у них есть еще одно «окно». Готова ли у нас фонограмма дивертисмента?

Шура испуганно попытался загородить собою Льва Казимировича, который от этой попытки неожиданно рухнул на спину, раскинув руки. Заглаживая эту неловкость, звукорежиссер сказал уверенно:

– Сто вы, Вениамин Петловиць! Фанела в полядке! Звучит, как будто мухи на ней не слали! Ас цвилкает!

Худрук задумался на секунду и сумрачно выдавил только:

– Если завтла... тьфу!

Плюнул и ушел к машине.

7.

Говорят, любое сообщество распадается, если исчезает идея, его связующая. Так произошло и с нашими бедолагами-путешественниками. Наступил день, когда в одночасье был положен конец их прежнему навязчивому желанию – выступить хотя бы с одним спектаклем на просторах Италии.

Это произошло самым бесхитростным образом, механически. В двадцати километрах от города Ливорно сломанный автобус был взят на буксир тягачом местного отделения агентства «Сильвестри», которому этот автобус, собственно, и принадлежал. На новый транспорт, в силу безденежья импресарио, рассчитывать не приходилось. Путешественники остались посреди дороги, выгрузив свой багаж и попрощавшись с водителями. Час спустя их вещи увез в сторону Милана прибывший грузовик, а руководство коллектива во главе с Вениамином Петровичем уехало туда же за подмогой на машине импресарио.

Несколько суток путешественники жили в лесу, ожидая помощи, а однажды утром разошлись и больше не стали собираться вместе. Часть людей ушла пеш-

ком по дороге вперед, часть пошла в обратном направлении, часть разбрелась по окрестностям, кто-то уехал на попутках – коллектив распался и рассеялся с той механической неотвратимостью, которая только и могла быть логическим завершением этой крайней степени усталости, оцепенения и полной изверженности во всём. Все попытки людей, еще мыслящих здраво, спасти коллектив от разброда оказались безуспешными – больше не существовало причины, которая могла бы держать эту толпу вместе. Да и призывы добираться до Милана, чтобы обратиться там в российское консульство, на большинство соратников не произвели никакого впечатления. Общее помешательство было таково, что часть людей отправилась в Рим, по их словам, «жаловаться самому папе».

– Вы куда надумали двигать? – спросил Свягин у Фанерыча и Ухтомцева.

– Мы в Пиченцу, – отвечал Шура. – Там рынок знакомый, и оттуда уже всего километров пятьдесят до Милана. Устроимся на разгрузку, нарубим денег на билет и сразу отвалим домой. Виза в паспорте еще действует. До Генуи зайцами доберемся по железке, а до Пиченцы около сотни верст на попутках. Не желаете с нами?

– Нет.

– Понимаю. Ну, ладно, Машулю береги.

– Не беспокойся.

– Может, все-таки в Рим? – повернулся к Фанерычу Ухтомцев. – По побережью пойдем! В море купаться будем! Все дороги ведут в Рим!

– Настраивайся на физический труд, дудило! – рявкнул на него Шура. – Рим – это совсем в другую сторону!

Глава 5. Где-то-нибудь

1.

Теплым сентябрьским утром 1992 года Свягин с Машей вошли в незнакомый провинциальный городок, лежащий на просторах Тосканы, к югу от Флоренции.

Окраина его утопала в зелени каштановой рощи, но поверх деревьев выглядывала прямоугольная колокольня, еще издали замеченная путниками как ориентир. Они подошли ближе; сооружение оказалось частью заброшенного старинного монастыря, а невдалеке, на спуске, открывалась уходящая вдаль перспектива жилой улицы. Несмотря на ранний час, в городке уже царил оживление – торговцы гремели ставнями лавок, сновали прохожие, рокотали моторами небольшие грузовички молочников, мясников и зеленщиков.

– Идем, – решительно сказал Свягин, – нам нужно в район центральной площади.

Маша устало усмехнулась.

– Потерпи еще чуть-чуть, осталось немного, – осторожно сказал Свягин.

Они пришли к небольшому двухэтажному домику, где в покатую черепичную крышу была врезана цилиндрическая башенка, остекленная по полукругу. Место было выбрано потому, что именно эта башенка чем-то понравилась Свягину. Над входом в домик красовалась отчаянная вывеска: «Hotel s.-Pelagia».

Маша опять улыбнулась.

– Что? – спросил Свягин.

Маша уткнулась ему в плечо:

– Не знаю. Не могу понять, что меня насмешило. Может быть, вывеска? Да, наверное.

– Сейчас, сейчас, – сказал Свягин. – Смешливая девушка, сколько у нас денег?

– Сорок одна тысяча двести лир, – устало ответила Маша. – Уж это я помню.

– А точнее?

Маша опустила глаза.

– И двадцать тысяч я приберегла. Я же всё-таки женщина.

– Всё. Антракт, – сказал наш герой, пробегая глазами преискурант под вывеской. – Хорошо иногда иметь дело с женщинами. Три дня нам надо провести нормально, никуда не дергаясь. Двадцать тысяч в день за двухместную комнату в мансарде – это подарок, и даже один доллар остается на разгон – так сказать, на подъем нашей с тобой экономики. А там придумаем что-нибудь.

Свягин открыл входную дверь, звякнул колокольчик, и откуда-то сбоку, из стенного арочного проема выглянул колоритный пожилой синьор. Он тяжело опирался на палку, но, завидев гостей, расплылся в улыбке и быстро просеменил за стойку миниатюрного, кукольного ресепшена. Его заинтересованность в постояльцах сразу бросалась в глаза. Даже при таких более чем скромных расценках на проживание – паломничества в эту гостиницу явно не наблюдалось.

– О-о, бон джорно, синьор э синьорина, – засуетился хозяин. – Скузи, прего, си, ке ло фатта аспетарми! – видно было, однако, что от его глаз не ускользнули ни измотанный вид путников, ни их условный багаж, состоящий из наплечной сумки и легкого полуспортивного Машиного рюкзака с традиционно болтающейся мягкой игрушкой. Тем не менее, с точки зрения «выгоды» хозяина такой вид гостей мог свидетельствовать именно об их твердом намерении найти у него приют.

Свягин, ранее не обративший бы внимания на незнакомый новый интерьер, теперь впервые – в связи с особой новизной положения – огляделся. Он отметил, что цена на проживание в любом отеле, намеренно созданным в подобном стиле, была бы весьма немалой. Далее до Свягина дошло, что все прежние апартаменты, в которых он жил, даже самые вычурные, в стиле ампир или классицизм, были лишь современными подделками, имитациями чего-то изначально подлинного, по сути, декорациями. Разумеется, как человек театральный, Свягин понимал это где-то на подсознательном уровне, но не думал на эту тему, считая такое положение вещей нормой. Но теперь именно подлинник навел его на мысль о подделках. Где-то люди вкладывались в стилизацию под старину, пластиковыми и гипсовыми формами имитировали каменную резьбу и кладку, а здесь была подлинная от рождения архитектура небогатого провинциального интерьера. Италия, как и весь мир, прошла через перетряски двадцатого века, через смену политических режимов и войны, но на быте ее провинции, живущей в вечном архитектурном музее, это странным образом не отразилось.

Что диктует нам тягу к тому или иному стилю? Что направляло мысль и руку средневековых строителей? В архитектуре средневековья грубость камней, монолитность крепостных стен, необходимость бойниц, окон, желобов для стока воды – все это диктовалось надежностью и предельной функциональностью. Готика пыталась оторваться от этой грубой земной геометрии, взмыв ввысь ажурностью арок, похожих на части рыбьего скелета. Свягина, впрочем, готика всегда настаивала своей одномерностью, любовью к углам, диагоналям и навязчивой симметрией – тем составляющим, наложившим отпечаток на всю европейскую

культуру, от научного стиля мышления до «готических» ломаных башен немецких танков. Но что Свягин не любил безусловно, это восточный орнаментный, «коверный» стиль. В нашей жизни мы часто стремимся к стилизации того, что нам нравится, пользуемся чужими «культурными кодами» – а здесь был средневековый подлинник, и его можно было потрогать руками.

– Прего, прего, – частил хозяин. – Пер куанто си ферма?

– Дедуль, да я не понимаю ни хрена! – воскликнул Свягин. Он шлепнул на конторку перед хозяином два паспорта. – Уно камера! Две персона! – бухнул он из того, что помнил. – Трэ джорни, на самом верху!

Старичок, даже не взглянув на паспорта, вежливо вернул их назад. Он аккуратно и даже как-то с любовью достал из шкафчика пухлую книгу регистрации и на слух переписал туда фамилии новых постояльцев.

– Ви да руссия? – спросил он с добродушным любопытством.

– Я русский, а она, – Свягин указал на Машу, – балетная.

Старичок кивнул согласно, вежливо принимая из свягинских рук огромные лопухи итальянских денег. Возможно, гости чем-то расположили его – порывшись в ящике, он торжественно вручил Маше значок с названием города и открытку. Он принялся рыться еще, вытащил из стола и вручил Свягину шариковую ручку.

– Ура! – воскликнул наш герой. – Грасие, синьор. В самую точку. Теперь я работаю!

Маша, несмотря на крайнюю усталость, с легким недоумением и даже некоторой ревностью на него посмотрела.

Домик с башенкой был так называемой семейной гостиницей, которую содержала пожилая пара, тут же и проживающая. Изредка в гостинице останавливались автотуристы, неугомонные студенческие компании и даже художники, привлеченные живописными видами Тосканы, но большую часть времени, как и теперь, гостиница пустовала. Здесь всё было по-домашнему; пожилая хозяйка, вручив ключ Свягину и с участием глядя на Машу, взялась проводить постояльцев на самый верх, до двери. Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице в мансарду и, пока Свягин отпирал дверь, хозяйка исчезла, как бы растворившись в воздухе.

Сколько новых городов, гостиниц и комфортабельных комнат прошло прежде перед глазами наших путешественников, будто в тумане. Но теперь, после долгой отвычки от жилья, Свягин с Машей замерли посреди скромной комнатухи с небогатой обстановкой, растягивая удовольствие и как бы не решаясь окунуться с головой в эту невероятную область уюта, тихого бродяжьего счастья.

Комната не была гостиничным номером в обычном понимании. Ее угловую часть от входа занимала гостевая кухня с плитой, холодильником, шкафами и полками, уставленными посудой. Середину комнаты занимал старомодный диван с двумя креслами по бокам – и все это располагалось на таком же старомодном ковре, что должно было означать гостиную. Часть гостиной за диваном занимала отопительная труба, которую трубой следовало называть условно, поскольку геометрически это была конструкция в виде вертикального плоского каменного пенала шириной в полтора метра и идущего от пола до потолка, очевидно, что с нижнего этажа, где располагалась печь. Дальний угол комнаты, образованный двускатной крышей, со стороны фронтона имел косой срез, именуемый полувадьмой. В этом уютном углублении, создающем ощущение полога, подразумевалась спальня. А на обратном скате крыши справа от входа имелось полукруглое

углубление, образованное сечением врезанной в крышу остекленной башенки, окна которой заливали комнату солнечным светом.

Наши путники быстро пересекли пространство по диагонали, упали вповал на огромную застеленную кровать и так замерли, испытывая забытые ощущения. Если бы их сейчас снимал какой-нибудь итальянский кинематографист, то он обязательно подчеркнул бы тот момент, что угол, под которым наши герои упали друг к другу, некоторое продолжительное время не менялся... Действительно, целую минуту они лежали как мертвые. Однако и тут случилось удивительное для Свягина, нарушающее все каноны итальянского кинематографа. Маша, полежав минуту с закрытыми глазами, вдруг пружинисто изогнувшись, села и вскочила на ноги. Взявшись за спинку кровати и прогнувшись всем корпусом вперед, буквально упав на вытянутые руки, она сделала ногой прямой как струна стремительный дуговой мах назад и вверх – батман.

– Ты чего это? Эй, не балуй! – глядя сквозь полуприкрытые глаза, сказал Свягин.

– Э-эх, сейчас бы потанцевать хоть чуть-чуть, – был мечтательный ответ.

Свягин посмотрел на нее недоверчиво.

– Мысль очень своевременная. И долго сможешь?

– Да нет. Не больше часа. Силы уже на исходе. Однако надо устраиваться.

– Ты что, уже отдохнула? – пошутил Свягин со своего лежбища.

– Сколько же можно? Теперь, как говорится, в связи с новой перспективой, усталость – не главное. А лежать – только расслабляться. Сейчас первым делом душ, потом стирка белья. Здесь, в комнате, надо еще кое-что привести в порядок, по-своему. Потом попробую у хозяйки выклянчить утюг и иголку с нитками. Короче, тут конь еще не валялся! – решительно объявила она.

– Ну, ведь валяюсь, не видишь, что ли? – из последних сил пытался шутить Свягин.

– Нет, правда, ты валяйся, а я лучше делом займусь.

Свягин привстал на локте, с изумлением на нее глядя.

– Ну, – сказал он, – займись.

– Ты, наверное, будешь не против, если я сначала позанимаюсь?

Маша, не дожидаясь ответа, отошла к окну, взялась за выступающий карниз и следующие полчаса, без музыки, посвятила балетному экзерсису.

2.

Час спустя Свягин сам оставил Машу и вышел на улицу. Впервые в его жизни это было не благостно-ленивое знакомство с новым городом, и не созерцание окрестностей, как в последние дни, с философским чувством «оторванности от мира» – а решительная, хотя и несколько судорожная, разведка боем. Свягин осмотрелся вокруг с позиции охотника, которому теперь позарез нужна была какая-нибудь «дичь», и двинулся по выбранной наугад улице. Так часто бывает с нами – в каких-то ситуациях мы даже философствуем о ненужности многих отпавших, исходя из нашей ситуации, вещей, а когда обстоятельства прижимают нас, эти отпавшие вещи вновь обретают уже двукратную ценность.

Будь город покрупнее, Свягин зашел бы в любой пятизвездочный отель и, зная подобные заведения как родные, не задумываясь, легко ограбил бы утренний шведский стол для их с Машей пропитания. Этически он оправдал бы это тем, что в отсутствие русских проживающих количество съеденных гостями продуктов не влияет на доход отеля. Но таковых отелей в этом городишке не было, а в

мелкие не стоило и соваться. Несмотря на то, что наш герой прошел мимо нескольких небольших гостиниц, ему и в голову не пришло поинтересоваться для сравнения ценами на проживание – анализировать любой совершенный поступок на предмет выгоды Свягин полагал уже неинтересным. Столь же мало его заботила и судьба последней тысячи двухсот лир. Свягин помнил сентенцию, что голодный человек может довольствоваться куском рыбы, но «широко мыслящий голодный» обязан достать удочку, чтобы эту рыбу всегда иметь в избытке.

Наш герой целенаправленно зашел на местный рынок в тот момент, когда сворачивались лоточники. Но втереться в доверие кому-нибудь из торговцев и подработать денег на отгрузке непроданного товара оказалось невозможным, на мелкий же криминал Свягин не решился. Так прослонялся он по городу еще пару часов. В конце концов, мысли о рыбе и удочке привели его к прямому материальному воплощению этого образа, а именно – на берег реки.

Свягин еще издали заметил итальянцев-рыболовов, числом около дюжины, цепочкой растянувшихся на добрую сотню метров. Река была стремительная, с перекатами на каменных гребнях, и в такой реке должна была водиться форель. С сугубо итальянским темпераментом рыболовы выражали восторг по случаю каждой пойманной рыбины, и наш герой даже позавидовал жителям городка, имеющим такие чудесные условия для рыбалки, да и сам приободрился.

Однако, приблизившись, он увидел то, что и предполагал. Каждый счастливый обладатель пойманной форели осторожно снимал рыбу с крючка, опускал ее в целлофановый пакет, взвешивал собственным карманным безменом, записывал вес рыбы в блокнот, а рыбу – нимало не задумываясь о том, что где-то на свете есть голодные люди! – отпускал обратно в реку! Было очевидно, что в конце рыбалки все ее участники имели цель собраться вместе и по записям в блокнотах определить победителя – только это и было содержанием и смыслом их похода к реке.

– Вот ведь морды, а? – вспыхнул Свягин. – Ну морды же! А как же уха на костерке, жирная, дымящаяся, с головкой лука и лавровым листочком, да под водочку?! Ах! Олухи, рыбу отпускают! – он даже задохнулся от неожиданности. Секунду помедлив, он сделал глубокий вздох и вынес свой вердикт:

– Варварская страна!

Такой подход «местных» к рыбалке окончательно подкосил волю Свягина к победе. На последние деньги он купил фруктов для Маши и пошел в отель. Он решил сделать хотя бы получасовой перерыв, чтобы обдумать ситуацию в надежде, что в голову придет какая-нибудь светлая идея. Помня стереотип о непрактичности поэтов, Свягин, однако, полагал, что уж если непрактичный поэт не решит проблему выживания балерины, то сама балерина с ее способностями – если самостоятельное на что и сподобится, то лишь умереть от голода.

Когда Свягин вернулся в отель, то в первое мгновение не узнал Машу. И дело было не только в ее свежем и сияющем виде. Нет, она снова полностью преобразилась, на этот раз будто сойдя с пасторальной картинки, изображающей сцены из провинциальной жизни пастушков и селянок. Такие картинки вспоминались Свягину из детства, по коврику, висевшему у него когда-то над кроватью. Волосы танцовщицы были убраны назад, зато на глаза набегала невесть откуда взявшаяся короткая челка, делавшая и без того юное лицо совсем уж школьно-девчачьим. На Маше было яркое платье с размашистой юбкой и какой-то фартук, которого наш герой не мог припомнить среди Машиного гардероба. В отдельных Машиных чертах и в каждой детали одежды не было чего-то особенного, наме-

ренно ярко обозначенного, но, собранные в целое, все эти штрихи и детали мгновенно отсылали восприятие к образу какой-нибудь швейцарской молочницы прошлого века – образу, призванному соответствовать скорее окружающему пейзажу гор и долин, детскому пасторальному коврику над кроватью, чем реальной монотонной фермерской работе.

– Я несу тебе еды, но еды несу не много, – натужно продекламировал Свиягин первое пришедшее в голову. – Да. Были тщетными труды. И опять пора в дорогу. А что это на тебе за фартук?

Маша рассмеялась, открыла дверцу холодильника и извлекла перед изумленным взором нашего героя сегмент большого сырного круга весом не менее килограмма, и литровую бутылку молока.

– Откуда дровишки? – спросил наш охотник и добытчик с легким оттенком уязвленного самолюбия.

– Да ерунда, – отвечала Маша с нарочитой легкостью. – Мы с тетушкой Пелагеей доили ее коз. У нее на задворках целое хозяйство. Как их там? – сараи. Да, эти, сараи. Сейчас я тебя накормлю.

– С какой еще Пелагеей? Каких коз? Какие сараи? – недоумевал Свиягин.

– Ну, наш отель называется «Санта-Пеладжа», так же зовут и хозяйку. Пелагея по-нашему. Я пришла попросить у нее утюг, мы поболтали по-женски, я помогла ей по хозяйству, и вот... Что-то она ко мне сразу прониклась симпатией.

– Это неудивительно, – буркнул наш герой. – Ты что, стала похожа на ее внучку? Или дочь? Или на ее саму в молодости?

– Да, она показывала мне фотокарточки из семейного альбома, – скромно потупив глаза, отвечала Маша.

– Чудовищно! А я-то думал, что кормильцем должен быть мужчина! Я ходил по всему городу, и везде – глухой номер! Капец! Эти синьоры ловят рыбу и тут же отпускают, а покупают ее в магазинах уже разделанную. Как они, интересно, тут охотятся? Холостыми патронами, что ли? – несло Свиягина. – Как сказал бы Горбачев, у меня к ним много вопросов. Где логика? Где, мать ее, логика? Какой смысл ловить рыбу и не пить водку? Я их не понимаю. А ты, значит, коварно воспользовалась профессией, ухватив чужой образ?

– Ну, не надо преувеличивать, Сережа. Знаешь, такое бывает. Видимо, хозяйка увидела во мне что-то близкое себе, мне самой даже немного неловко. Я – честно! – отказывалась от всего до последнего, но она была непреклонна!

3.

Вечером, едва стемнело, Свиягин с Машей вышли в город. Они нашли себя в окружении старинных стен, сложенных из крупного прямоугольного камня и увитых диким виноградом, мощеных мостовых, каменных ступеней и парапетов.

– Как здесь всё... основательно, – заметила Маша. – Действительно, настоящий музей. Будто они один раз и навсегда это построили, и с тех пор живут, ничего не меняя.

– Да, наверное, – согласился Свиягин. – Похоже, эта страна кончится только вместе с этими камнями. Да, собственно, никогда и не кончится. Прошлое будет постоянно у них перед глазами, а они по камешку, по кирпичику будут бережно перекладывать свои дома, тротуары и парапеты до окончания времен. Тут есть чему позавидовать.

– Наверное, такой городок – самое подходящее место для поэта? – спросила Маша. – Я сама раньше не обращала внимания на такую красоту и... основательность, но теперь замечаю.

Кстати, наша Катя, – Маша говорила об искусствоведке и переводчице Кате, попавшей «по знакомству» в нынешнюю передрагу со всем коллективом, – всегда впадала в какое-то возбуждение, если речь заходила о здешних местах. Она часами могла говорить нам об искусстве Ренессанса, без которого, по ее словам, не было бы ни мировой архитектуры, ни поэзии, ни даже балета.

– Да, эта Катина особенность известна, – согласился Свягин.

– Да я не про особенность. Просто мне интересно, отчего ты, находясь в Тоскане, так сказать, в колыбели европейского искусства, до сих пор ни словом не обмолвился по этому поводу? Ответ бедной и глупой танцовщице, почему ты ни разу не вспомнил тут Данте и Петрарку?

– Потому что тут у меня своя Лаура, – пытался отмахнуться Свягин. – Ты думаешь, мне так же легко сказать об эпохе Возрождения, как прошагать по этому тротуару?

– Нет, Сережа, это ты – думаешь, а я, танцовщица, спрашиваю. Так что, давай, милый мой, отвечай.

– Ну, отвяжись, пожалуйста! – засмеялся Свягин.

– Не отвяжусь.

– Ладно. Данте и Петрарку я не упоминаю только потому, что искусство Возрождения ничего нового не дало стиху!

– Как так?

– А так. Метрика стиха осталась неизменной со времен Александрии, а всяческие итальянские канцоны, терцины и триолеты – это, по-моему, лишь новые перепевы давно известного, местного манерничанье, гитарное жеманство, упражнения на заданную тему. Чтоб тебе было понятней, у итальянцев в стихе не появилось не только новых смыслов, но даже новых форм. Искусствоведы бы меня убили на месте, но для русского поэта никакой эпохи Возрождения не было!

– Легко хочешь отделаться! – приступила к нему Маша. – Говори быстро, чем славны эти места для мирового искусства!

– Чем славны? – почесал в затылке Свягин. – Хм, хм, чем же они славны? Видишь ли, весь драматизм ситуации состоит в изначальной разделённости путей Запада и Востока. И еще в том, что ни один из этих путей нельзя безусловно определить как правильный, образцовый. Мы с Западом потому и разделились церквями, что никогда не сходились в понимании цели. Что такое европейское Возрождение? Это логический эволюционный ответ на застылость средневековья, на догмы и рационализм католической церкви. Итальянцы в самый разгар своего средневекового застоя затосковали по красивой античности как утерянному идеалу. А мы во все времена тосковали по самой красоте, без всяких античностей. У нас это не имело какого-либо оформленного течения или движения, которое можно вписать в историю искусств – у нас все великое, включая искусство, всегда делали одиночки, гонимые властью и толпой.

– Ну и куда же эти пути каждого из нас привели?

– Если брать категории земные, рациональные, которым всегда следовал Запад, то можно прямо сказать, что этот спор мы проиграли. Наша практическая, бытовая жизнь в истории – в смысле свобод, достатка, собственного достоинства – это вечный мрак с редкими просветами. Но цели-то у нас с Западом были разные с самого начала. Их эпоха гуманизма «повернулась лицом к человеку», к его

гордому «я хочу» и «я всё могу» как высшей ценности, к его сытости и достатку. Наиболее полно всё это выразилось в Ренессансе. Но наше искусство всегда считало, что, грубо говоря, человек не только для этого рождается. Что это слишком прямой, лобовой путь. Тут я опять прихожу в замешательство. Разве это было не замечательно в Ренессансе – поиски новых форм в искусстве, упражнения в линейной перспективе, пылкие итальянские импровизации, которые, в конце концов, «размягчили» католицизм его же оружием – логикой, и доказали, что и религия, и общество должны быть гибкими, готовыми приспособляться к человеческим нуждам? Это прямой путь к демократии и к правам человека. Но за все это Европой была заплачена единственная цена – понимание жизни как предмета рациональной пользы, подмена искусства эстетикой, новыми техниками, голым мастерством.

– Кате бы сейчас стало не по себе, если бы она твои слова о Возрождении услышала! – весело ужаснулась Маша.

Свиягин рассмеялся и обнял ее.

– Мне неловко, Маша, это говорить, но ей сейчас и так не по себе. Только нам с тобой – по-настоящему хорошо! Как же нам с тобой сейчас замечательно! Вот до чего нас всех довел европейский гуманизм, так и не освободившийся от проклятого рационализма!

– Конечно, можно сказать, – продолжал Свиягин, – что вот, Петр прорубил, мол, окно в Европу, и мы, в конце концов, от Ренессанса тоже что-то урвали: живопись, архитектуру, балет. Урвали, хотя и перепластовали по-своему. Мы не только создаем своё, но всегда охотно берем чужое, и пластуем, и перерабатываем. Но наше искусство – это не что иное, как некая окончательная версия, уточнение, доведение чужого образа до совершенства. Формально мы тоже дети европейского Возрождения, хотя и поздние, но по большому счету наше искусство с ним никак не связано, потому что мы имеем свой собственный взгляд на вещи – и Данте с Петраркой нам годны лишь как материал для окончательной доработки. И еще – у нашего искусства другая суть. Если европейское искусство – это восхищение совершенством человека, то наше искусство – это вечное противостояние продолжающемуся распаду мира после грехопадения. Собираение раздробленных кусков, обесценившихся слов и разболтанных жестов в единое целое. Искусство Возрождения до самого модерна воспевало человека и восхищалось им, а наше искусство – с первых дней вопияло, что этот мир плох, человек мерзок, жизнь невыносима, и не воспевало их, но собирало оставшиеся крохи, искало в этом несовершенстве, в этой помойке бытия некие крупички красоты, надежды, утешения. А так как мир *испорчен* даже более ожидаемого, то в поисках этих волшебных нематериальных сущностей русский художник высовывает голову уже за грань земных небес. Вот, Маша, и вся суть русского искусства!

– Не пойму, – сказала Маша. – То ли то оптимистично, то ли совсем наоборот. Суть какого из двух искусств, России или Европы, тебе ближе? Отвечай.

– Обычно это зависит от взгляда каждого из нас на то, в каком ментальном мире он сам живет. Если брать крайности, то условный «глобалист» скажет, что все мы варимся в одном котле, мир един, и искусство универсально. Оно содержит некий неизменный стержень, паттерн красоты, подобный математической формуле – и любой человек на планете воспринимает его как нечто собственное. Таковы балет, Толстой, «Битлз» – хотя друг другу они антагонисты. При этом искусство вправе иметь и широту ярмарки, быть разделенным по языкам и народам своими особыми неповторимыми деталями – в любом случае каждый может ра-

доваться, узнавая свое в очевидно чужом. Другая крайность – замыкание искусства в национальных рамках. «Им не понять нашей души, наших песен!», «Наша земля, наша и петля!» Но искусство, замкнутое на себя – это не созидание, а всегда лишь противостояние и кукиш кому-то, действие вопреки.

Во мне, как во всяком русском, присутствует большая неупорядоченность, хаотическое многообразие. Это и наше преимущество, и беда. Кто-то гордится этим и доводит это до кликушества, но меня увольте. Корнями я в русской культуре, в этом вечном хаосе, но мечтаю о европейской упорядоченности, почти математической однозначности. И живу на этой грани.

– А я тогда ровно наоборот, – сказала Маша. – Получается, что я живу в европейском, однозначном мире. Музыка, хореография, комбинации и строгий рисунок танца – тут все однозначно и упорядочено долями, тактами, рядами и перспективой, как ты говоришь, готических «углов и диагоналей», абсолютной симметрией. И мне, напротив, хочется хоть немного хаоса!

В небе горели крупные звезды. Наши путешественники подошли к одиноко стоящей посреди лужайки старой капелле. Сложенная из грубого и крупного слоеного средневекового камня, с высоким готическим порталом, она не была действующей, но по цивилизованной естественности оказалась освещенной изнутри, для удовлетворения любопытства случайных экскурсантов. Свягин с Машей открыли кованную железную калитку, миновали забор, по вымощенной каменной тропинке пересекли лужайку с фонарями и вошли под своды капеллы. Тут уже находилась некая группа людей различного пола и возраста, говорящих на английском языке. В силу неписаного правила европейских туристов здороваться в чужих краях с любыми иностранцами как с возможными соотечественниками, англоязычные люди поприветствовали наших героев. Свягин ответил на английском, что, впрочем, не освободило его от улыбчивых расспросов и собственных объяснений – из какой всё-таки страны они прибыли. Разговорились. Англичане оказались съемочной группой, выбирающей в окрестностях Тосканы натуру для будущего фильма.

– Так вы русские? – спросил по-английски невысокий господин, самый представительный из группы. – Это просто какое-то счастливое совпадение. Мы только секунду назад говорили о России. Вот, Стив может подтвердить, что я не фантазирую. Стив, это так?

– О, да, – подтвердил тот, которого называли Стивом.

– Так, герой моего будущего фильма должен по сценарию упомянуть имя какого-нибудь русского писателя, говорившего о женской измене.

– Наверное, герой вашего фильма большой интеллектуал? – съязвил Свягин. – Если даже русские писатели ему известны. Да еще те, которые пишут об измене.

– Нет, просто сценарий еще не готов! – пошутил на английский манер собеседник. – А мы уже за сценариста всё решили! – вся группа одобрительно рассмеялась, а тот, кого называли сценаристом, демонстративно изобразил неудовольствие, громко и не очень естественно сопя. – Так окажите любезность, подскажите нам, сэр, – продолжал человек, теперь уже, без сомнения, режиссер будущего фильма, – кто из ваших русских писателей наилучшим образом описал женскую измену?

– Ну, уж тут других вариантов нет, – сказал Свягин, картинно разводя руки в стороны. – Конечно, Толстой. Лев, Толстой. В «Карениной». Хм. Анне, Карениной.

Собравшиеся рассмеялись стилизации под Джеймса Бонда.

– Хорошо, раз так, то еще один вопрос. У нас тут возник спор, хотя это уже – лингвистика, нюансы. Каким прилагательным лично вы, русский, определили бы любовь замужней женщины к другому мужчине? Это тоже важно для сюжета. Мы хотим сделать очень необычный диалог главных героев при первом знакомстве. Они встречаются в пустыне, перед началом песчаной бури. Потом их машину засыпает песком, так они знакомятся.

Свягин усмехнулся.

– Я бы предпочел вообще не употреблять никаких прилагательных, – сказал он. – Просто я их не люблю как часть речи. Суть предмета от этого все равно не меняется.

– Простите? – не понял собеседник.

– Лучше изменить сам предмет, наделить его новыми качествами, а прилагательные просто забыть и выбросить. Например, любовь-стыд, любовь-ненависть.

– Любовь-ненависть? О, Боже! – вскричал вдруг англичанин. – Это отличная мысль! Любовь-ненависть! Я чувствую, это очень похоже на то, что нам нужно, это может стать стержнем отношений наших героев. Хм, любовь-ненависть... Пусть чувством главной героини будет именно... любовь-ненависть! А Жюльет на втором плане будет играть любовь-сострадание к главному герою, самолет которого сбили!

...– О каком фильме шла речь? – спрашивала Маша Свягина на обратном пути. – Я не поняла из вашего разговора ни слова. Сказать грубее, ни черта.

– А я-то почему знаю? Пусть снимут сначала. Наверное, какая-нибудь мелодрама. Муси-пуси.

– Почему ты так решил?

– Ну, ведь про любовь же. Любовь – это всегда муси-пуси. Да и красоты всякие – песчаные бури, дюны, трудности... Самолет какой-то сбили. Какая-то Жюльет за пилотом ухаживает. Будут потом получать Оскаров за идею!

– Извини, хочу тебя поправить. Не за идею, а за воплощение.

– Хотел бы я посмотреть на ваши «воплощения», если автор перестанет выдавать идеи! Штук пять-шесть Оскаров получают за мою идею – просто чую! – нагло пошутил Свягин.

– А я хотела бы посмотреть на автора, идеи которого некому было б воплощать! – смеялась Маша. – Однако давай-ка прибавим шагу. В «Пелагее» хозяева без нас спать не лягут.

4.

На следующий день утром в дверь номера постучали, и перед Свягиным предстал его московский знакомый Миша Комаров, о котором наш герой прежде знал, что тот занимается в Италии совместным с итальянцами бизнесом (точнее, с поправкой на отечественную лексику, предпринимательством), но лично с собой это никак не связывал.

– Ни хрена себе, сказал Свягин. – А ты-то как тут?

– Я тут хорошо, – ответил Комаров. – Это вы не очень.

– Мы-то как раз, вот с ней (Свягин указал на Машу, за что та ткнула его кулаком в бок), вот с этой девушкой, нормально.

– Я о коллективе.

Выяснилось следующее. Комаров узнал о злоклучениях русских гастролеров в Италии и придумал, как можно из этой ситуации извлечь выгоду. Он договорился с итальянским импрессарио, пообещав вложить сумму на условиях полновины прибыли, чтобы продолжать гастроли. Креативная задумка состояла в апелляции к национальной гордости итальянцев. Вроде того, что гастроли были сорваны алчностью французов (это, конечно, звучало не явно), но русский коллектив, чтоб не обмануть ожиданий итальянцев, готов выступить «как есть», сугубо в репетиционном одеянии, без театральных костюмов и декораций, то есть в некоем первозданном, без условностей, сочетании музыки и танца. Реклама должна была строиться на том, что русского балета у нас для вас всегда в избытке, но такого русского балета, в стиле «голый (то есть не костюмированный) человек на голой сцене» вы больше никогда и нигде не увидите, ибо нынешняя ситуация с автоблокадой уникальна. Отдельно можно было подчеркнуть, что съемка действия строго запрещена, поэтому предполагалось, что значительная часть итальянских зрителей захочет прийти, прихватив видеокамеру с заклеенным световым индикатором.

Сказать, что итальянский импресарио согласился, было мало. Понесенные им от простоя убытки можно было не только частично компенсировать, но при удачном раскладе даже выйти в небольшой плюс. В итоге Комарову удалось собрать весь коллектив, включая последних участников, Свягина и Машу – благо, это было сделать не очень сложно, опросив в городах по пути следования коллектива местную разговорчивую публику.

– Сейчас едем на площадку, там в семь вечера тренировка. Не знаю, посмотрим, насколько они боеспособны.

– Не сомневайтесь, – сказала Маша. – Боеспособны. И не тренировка, а класс и репетиции. Едем.

– Будет тесновато, – предупредил Комаров. – У меня машина под крышу забита водой и едой для них, так что не обессудьте.

– Комаров, черт возьми, надеюсь в этот раз мне, как Юрию Андреичу, спирт со снегом пить не придется? Что значит, тесновато?

– Ты о чем?

– Да ладно, было однажды дело, забей. Едем.

Когда машина остановилась у здания открытого театра, окруженного и утопавшего в зелени, первое, что услышали путешественники, были знакомые звуки рояля. На сцене с временно закрепленными балетными станками шел класс. Маша, поднявшись на сцену и нагнувшись, проскользнула под поручень станка, балетные соратники с полотенцами на шее молча раздвинулись и дали ей место. Глаза Маши были полны сочетанием недоумения и счастья.

...Шли последние приготовления к спектаклю. Это были не обычные приготовления. Артист, играющий Дон Кихота, примеривал для выступления черный спортивный костюм. Копье ему сделали из черенка швабры, платки тореадорам – из черных целлофановых пакетов для сбора мусора, а веера для фонданго вырезали ножницами из цветастых итальянских журналов. Весь реквизит – шпаги, мечи, подносы, бокалы – все было подобрано или сделано наспех из первых попавшихся предметов. По артисткам собрали все косметички и кисточки. Книгу, с которой Дон Кихот должен был выходить на пролог, одолжил Свягин, – это был Толстой, недавно перечитанный Машей. И костюмерный подбор вызывал у арти-

стов взаимные грустные или ехидные улыбки: танцовщицы разогревались на сцене в репетиционных туниках, а то и просто в купальниках.

– Капустник! – восхищался замотанный световыми заботами Свягин на ходу Маше. – Так мы еще зрителей никогда не дурили! У Дон Кихота будет эротический «Сон»! Неизвестно, каким конфузом он для него кончится!

– Извини, Сережа, потом, потом, – отмахивалась Маша, отлавливая попутно Эльвиру. – Значит так, давай вот этот кусочек пройдем, после препарасьон – жете антурнан, трам-пам-пам, р-раз! – сиссон томбэ! – корпус сначала вперед сильнее, а когда передаешь его на левую ногу, наклоняй тоже сильнее налево – эффасе, и – прыжок!

Всё происходящее походило не меньше, чем на запуск ракеты, которая то ли взлетит, то ли нет. Но уже шел обратный отсчет. Свягин поразился переменам, произошедшим с артистами. Усталость их как рукой сняло, лица просветлели, глаза прояснились – общий подъем овладел труппой. Урсула, вцепившись в сетку штанкетных подъемов, делала последние жете, разогреваясь. Маша перебрасывалась замечаниями и с ней.

– Здесь вот: и-и раз-два-три! – сиссон томбэ, па де бурэ и – ранверсе! Не забудь голову оставить на ранверсе! И потом еще, здесь: ассамбле, ассамбле, сиссон томбэ с продвижением вперед, и – девлопе в алясекон, провела аттитюд кроазе назад и-и-и – ранверсе!

– Мужики! – наставляла педагог артистов-мужчин. – Плие после прыжка так не акцентируем! Вы же не евнухи, угодничество какое-то! А вы, красны девицы! – обращалась она и к танцовщицам. – Стоять! Стоять, мать вашу! Колени! Колени не ронять! Ну, что же это за... Хуже мужиков! На эпольман голову не забываем! И руки – мягче, мягче, артистичней! Перегудова, это что у нас, теперь аттитюд такой новый? Куда ты направо заваливаешься, ты же не Пизанская башня!

– Пизанская налево вроде! – огрызалась балерина.

– Это, девочка моя, с какой стороны посмотреть!

– Кто распустил кулису? – шумел концертмейстер, проходящий с солистами разводную.

– Тебе фамилия нужна? – рывкал на него, пробегая мимо, Свягин. – Я распустил!

– Мешает, Сергей! Не вижу ни черта!

– Мне прострелы нужно ставить! Играй, пожалуйста, вслепую! Бетховен, так тот вообще играл вглухую! Учись, брат! Воронку дать?

– Надень костюм наизнанку! – уже не столько говорил, сколько стонал от заполошенности художественный руководитель, обращаясь к одному из артистов. – У тебя же надпись на груди! Хорош тореро в «Адидасе»! Зритель же это читать будет! Еще «фак ю!» напиши!

– Плохая примета, Вениамин Петрович! – едва не плакал, отбиваясь, артист. – Ну, плохая же, наизнанку! Пусть лучше так!

– Сергей, – перехватывал худрук нашего героя, – у нас сегодня два водящих луча и три солиста. Что хотите делайте, а двумя водящими берите троих!

– Вениамин Петрович! – едва не стонал Свягин. – Двумя лучами водить троих солистов, это всё равно, что втроем спать под двумя одеялами!

– Хорошие у вас образы! Жизненные! Но – водите!

Наконец, танцевальная фабрика была приведена к внутреннему согласию. Свягин до последнего ужасался авантюрной затее. Уже помощник режиссера давал предварительные повестки на занавес и «супер», уже Лев Казимирович,

выбранный, свежий и подвижный, делал последние наставления местным помощникам по сцене, уже Шура, отложив начатый пакет вина в сторону, колдовал на мерцающем звуковом пульте. Сняли ползала, затем зал, свет исчез весь, блэкаут, пространство провалилось куда-то в преисподнюю, гробовая тишина воцарилась.

Был ли это мрак с упрятанным в него хаосом? Свяягину, как всякому театральному человеку, был знаком этот единственный миг с его набором разноречивых, порой взаимоисключающих, чувств. Протяни руку, нажми кнопку, тронь задвижку аппарата, – только начни, начни – и всё покатится и полетит дальше уже как бы само собой. Но эти несколько секунд абсолютного мрака и гробовой тишины, и пауза тянется и тянется, и уже, кажется, затягивается неспроста. Все ли на месте, всё ли готово, всё ли сошлось?

...Но вдруг откуда-то поплыли первые звуки неторопливого пока Минкуса. Он тоже как бы примеривался в нерешительности. Свяягин тронул задвижку. Тонкий игольчатый луч пересек всё черное пространство зала, поймал артиста и тут же превратился в оазис жизни и света. Пока всё «зависело лишь от Свяягина». Пока всего, что было вне луча, не существовало. Но тут Минкус замер, разлетелся и грянул. Вспыхнули все софиты разом, артисты бешено, в свежую, в полную силу затанцевали – и зал разразился аплодисментами.

И странное дело – давненько не видел этот спектакль, а в нынешней версии не видел его вообще, Свяягин смотрел на происходящее совсем иными глазами, новыми, из новой жизни, неслыханно изменившейся с той пропасти времен, когда сцена перед ним была лишь сценой, профессионально залитой светом, лишь водоворотом пестрых костюмов, людским муравейником, не ведавшим, кого он вскорости вынесет из своих рядов.

Танцевали с таким остервенением, напором, такой невесть откуда взявшейся импровизацией и таким юмором, что Свяягин впервые не мог сдержать радостного смеха и впервые недоумевал – откуда это всё вдруг возникло, проявилось – отчего так тонко подмечены типажи, отчего так блестяще, с чуть гротесковым дурачеством, поданы человеческие черты, слабости и хитросплетения чувств. Он не узнавал даже Майданова. Танцевали уже не Урсула, не Эльвира и не сестры Щаповы. Нет, это незнакомый трактирщик был хитрец и плут, и, задумав пакость, он не подавал вида, озираясь в нерешительности, да всё это для окружающих было как на ладони, и все покатывались над ним. И испанки были восхитительны в своем темпераменте, и Китри была душой чиста и наивна, и Базиль был малый неотесанный, но преображался, мужая и возвышаясь в женском присутствии.

Вдруг в финале «Таверны» Свяягина как током пронзило. На всём пространстве сцены все эти люди: и толпа с площади, и герои, и подруги, и тореро, и разбойники из джиги – все в едином порыве взмывали вверх, в такт музыке взрывающейся синхронным всплеском целого моря рук над головами. И было уже не до декораций и костюмов, второстепенные вещи ничего не значили тут перед общим счастьем, общим порывом и общей бурной радостью. Вся толпа, как один, синхронно вставала на одну ногу, хохоча и весело скача на ней, взмахивала руками и плавала, покачиваясь, из стороны в сторону, как на волне, – все это проделывал каждый артист в отдельности, и все это было монолитно. И это было так неподдельно, что Свяягин увидел – вот оно, обещание и предчувствие чего-то настоящего, какого-то счастливого будущего, всех и каждого. Измотанные и переругавшиеся на переездах Италии люди неведомым образом вдруг заставили поверить в это.

И это потому так было похоже на образ будущего пира, собрания вместе всех дорогих и близких людей, что впервые виделась глазами и чувствовалась сердцем *сухая правда*, уже не факт искусства и правдивости художественного образа, а художественный образ, ставший фактом жизни, самой жизнью, добавивший в нее реально еще чуть-чуть добра и сочувствия, ибо мир устроен на добре и сочувствии – вещах абсолютных, – и там, где есть правда, ему не уклониться в другое русло.

Вот чем было это обещание. И подтвержденная, искренне вытанцованная красота и справедливость мира обнадеживала, как ей и должно, как она и есть – всё будет хорошо, всё оправдается и восполнится в будущем, единственный исход всего на свете – вот такой, счастливый, жизнь может вести только к хорошей развязке в силу устройства своих основ.

...Но было еще одно, идущее вразрез с обещанием счастья, чувство. Маша танцевала вместе со всеми на этом празднике согласия и понимания, и радовалась, и веселилась неподдельно, а Свягин был один и смотрел на всё это со стороны. Ему на миг показалось с горечью, что будто не вместе они были прежде, а скорее мучительно, с натугой, с барьерами, по-дурацки усложняя свою простую задачу, кружили друг подле друга, ища невозможного, – а не вот такого же легкого, как на сцене у Маши, общего праздника со смехом, музыкой и огнями. И странным было, что отсутствие сейчас Свягина на этом празднике как будто никак на Маше не отражалось.

Два исключаяющих друг друга чувства неведомым образом переплелись в Свягине: острое чувство принадлежности Маши ему одному, с этой их одинаковостью дыхания и ни на кого не похожестью, и чувство безвыходной, неотменимой принадлежности Маши своему кругу, неотрывной частички его. Люди, не близкие ей, имели на нее прав больше уже чисто механически, им оказывалось проще и достижимей сделать Машу счастливою, купая ее в волнах праздничного веселья. Свягин же был – чужой на своем празднике.

«Подожди, сейчас я – это не я», – говорила ему Маша в антракте. Она то рассеянно переспрашивала Свягина, не понимая, чего он от нее хочет («А? Что. Сережа? Потом, ладно?»), то не договаривала начатой фразы, а то плакала, убиваясь, что последняя вариация у нее не так хорошо получилась.

Какой-то заряд трагизма был во всём этом, барьер, мешающий им броситься в объятия друг другу после спектакля. Они ехали вместе в автобусе, Маша была почти невменяема от усталости, и странные вещи происходили со Свягиным. Он испытывал бешеное чувство нежности к этой девочке, но он онемел, окаменел, он замер, он стал истуканом. Всё, что он чувствовал сейчас, было настолько невыразимым, настолько исключительным, что он боялся спугнуть это словами и даже знал, что достаточно одного слова, чтобы – спугнуть.

И опять не было продолжения их общим и единственным речам; каждое Машино выступление будто по живому куску отрезало с лихвой, с запасом – больше того, что накануне было ими найдено чуть дыша, трогательно.

...Однажды, время спустя, они брели заснеженной Москвой в странном, сбивчивом диалоге. По Машиным щекам текли слезы. Она отворачивалась поначалу, тайком смахивая их, а потом уже и в открытую утирала тыльной стороной ладони.

– Какую нелепую передышку я тогда все-таки получила. За что, Господи? Чем я провинилась? Лучше б мне сразу было всего этого не знать. Нужно остановиться сейчас, потому, что дальше будет только хуже.

– Да я люблю тебя, дура! – крикнул Свягин. – Понимаешь ты это?

Он внезапно остановился, стал к Маше лицом к лицу и обнял ее, прижав к себе крепче, чем нужно, охватив руками как бы всю ее, от худых плеч до талии, и всю ее – какую-то чересчур хрупкую, худую и легкую, будто только и рассчитанную на подъем, поддержки и ношение на руках, а вовсе не на такие объятия, от которых даже через зимний плащ едва не трещат ребра. Он знал, что держит ее напоследок, и не хотел отпускать, ослабить руки.

– Отпусти, – совсем уже расплакалась Маша, – отпусти, мне больно! Всё! Больше ничего не будет.

Свягин впервые так серьезно ощущал себя участником какого-то неведомого прежде события, события, которое относилось прежде к кому угодно, но только не к нему.

– Ты можешь... хоть что-нибудь объяснить? – давился словами Свягин, продолжая находиться в состоянии недоумения и подавленности.

Они двинулись было дальше, Маша неожиданно поскользнулась, Свягин поддержал ее, но она, не заметив этого, говорила:

– Я ничего не могу объяснить даже себе. Я артистка по профессии. Помнишь, Урсула говорила: «Буду танцевать, пока не грохнусь об пол замертво»? Вот и всё объяснение. Я вся *оттуда*, телом и душой. Буду танцевать, пока не грохнусь замертво. А ты меня отсюда вытягиваешь, искушаешь какими-то странными вещами, и мне плохо, неудобно, я задыхаюсь без воздуха, я не берегу себя, поверь мне. Любовь поэта сама по себе вещь ненормальная, а уж поэта и танцовщицы! Это гремучая смесь. К тому же, есть правило – чужих дров не воровать! – неожиданно пошутила она, улыбаясь сквозь полные слез глаза. Она будто по инерции хотела напоследок еще нравиться. – Дрова, это, выходит, мы... Ведь ты понял? Господи, что я несу!.. – спохватилась вдруг она. – Спасибо тебе, Сережа. Но *нам* нужно другое. Дай Бог хватило бы сил на работу, жить дальше, прости меня. Я не могу принадлежать кому-то, если себе не принадлежу. И я не о времени говорю, ты же понимаешь? Ты запомни меня настоящей вот какой – у балетного станка, растрепанной, мокрой, с влажными разводами на спине, с полотенцем на шее – этакий рабочий механизм для производства танцев.

– Я запомню тебя другой, – сказал Свягин. – Я еще не забыл, какая ты была настоящая. Уж это, будь добра, оставь мне.

– Ну, прощай, – сказала Маша.

Свягин молча повернулся и быстро пошел в сторону метро.

Горели квадраты вечерних окон, снег кружился и мерцал в конусах фонарей, снег хрустел под ногами Свягина. Сегодняшний день принадлежал еще им с Машей, они еще виделись этим вечером и сегодня еще говорили. Они навсегда попрощались, это было нелепо, сумбурно, некстати, но еще не так страшно. Свягин ехал один в вагоне метро – Кузьминки, Волгоградка – и пока еще чувствовал ее, мысленно видел, что она сейчас делает, в каком находится настроении, в какой угол комнаты пошла, во что одета, от какого именно торта отщипывает кусочек; нити, связующие их, еще не были оборваны сегодняшним числом, действовали, как формально действует еще театральный билет, когда представление закончилось, но зрители еще театр не покинули.

Но Свягин догадывался, что с завтрашнего утра ему нужно быть готовым совсем к другим ощущениям.

Глава 6. К чему снятся балерины

1.

«Чужая, чужая. Теперь уже точно, окончательно чужая», – шевелил губами Свягин, просыпаясь и засыпая, работая или разъезжая по городу. Странно, но они с Машей больше ни разу не встречались случайно наедине, все время в толпе, на бегу, кивали друг другу, здороваясь, Маша отводила глаза. Такое уж это было проклятое театральное дело – общественное, колхозное.

Это было неслыханно, непереносимо – еще не только руки помнили Машино тепло, но о Маше не желали забывать, знать не желали о разлуке с ней и все простые свягинские предметы. Зонтик, который упрятывал их от дождя, Свягин еще и не открывал с тех пор, как Маша закрыла его своей рукой и застегнула кнопку. Свитер, в который он укутывал ее у костра в два обвода вокруг плеч, казалось, пахнул еще дымом. И даже надпись, сделанная Машей в шутку ногтем на его осветительской перчатке, не сошла ещё. Вещи как бы кричали ему: «Ты что, Свягин, сдурел? Куда ты девал нашу новую хозяйку?» Ничего не сдвинулось с места, не поменялось прежнее расположение домов, киосков, деревьев и столбов, но сущность их неузнаваемо изменилась. Это было всё ново какой-то ошеломляюще-трагической новизной, вышибающей из седла, останавливающей любое дело на полном ходу своей необъяснимостью и нелепостью.

Задерживая шаг у пестрой коммерческой палатки, чтобы купить для Маши какую-нибудь любимую ее кондитерскую мелочь, он вдруг неловко начинал топтаться, и с усмешкой, которую продавцы толковали по-своему, отходил в сторону.

«Да, вот что я еще забыл ей сказать...» – спохватывался он вскорости, и опять замирал как вкопанный, пораженный той же внезапной догадкой: «Да это же – всё! Всё. Больше ничего не будет. Купе!»

А «купе» было внутренним сленгом техников и означало окончательную отмену какой-нибудь театральной придумки: всё, к этому, мол, больше не возвращаемся. Для человека пишущего французское «купе» было знаком изъятия текста, его купированием. Для Маши «купе» было вспомогательным танцевальным движением. И еще это была часть какого-то фантастического вагона, увозившего Машу от Свягина навсегда. Ку – точка – пе.

Это не укладывалось в голове: никто из них не сгинул, не пропал, не умер, от события остались память и предметы, а события нет, как и не было? И – больше ничего происходить не будет?

Он, наверное, сошел с ума. Он продолжал с ней мысленно разговаривать. Эти мысленные разговоры с Машей были странного рода. Это было всё, что у него от Маши оставалось. В них можно было поправить неловкую фразу, когда-то действительно сказанную, и не единожды уточнить мысль. В них можно было от сказанного отказаться и начать диалог сначала. Могло и вправду показаться, что Свягин спятил – частенько, когда рядом никого не было, это прорывалось у нашего героя в виде какого-то вслух проговариваемого бормотания, путанного, в большинстве состоящего лишь из начала слов – как то бывает, когда мы подыскиваем словесную форму чему-то некстати с нами случившемуся.

Прежде Свиягин, если и не смеялся над сентенциями типа: «мысль изреченная есть ложь», то, по крайней мере, относил их к чрезвычайным жизненным ситуациям, к особому человеческому состоянию, когда невозможно высказаться определенно в силу нахлынувших, переполняющих душу, чувств. Словом можно выразить всё, считал он (он и Маше о том же говорил). Он понимал, что остро чувствующий человек может ляпнуть что-то парадоксальное: «Тишина, ты лучшее из всего, что слышал» или: «Зачем опустошать себя словами?» Для творчества нужна успокоенность, говорил Свиягин, не относя все эти паникерские фразы к себе. И Лев Толстой, разбирающий словами по косточкам любое чувство, был «тому порукой».

Но что это нынче происходило со Свиягиным? Он открывал том Толстого (а там еще Машина закладка оставалась) в надежде отыскать хоть какое-то объяснение своему новому состоянию, «разобрать его по косточкам», а там была лишь тенденциозная, моралистски подталкивающая в спину, умственно рассчитанная бодяга, – про дубы, воскресающие к новой жизни по весне, и абстрактные для Свиягина, к делу не идущие рассуждения героев о том, что будет, когда их на этом свете не будет. Толстой один знал за всех, но когда дело касалось любви, чувства его героев, «разобранные по косточкам», не были так трагически близки самому Толстому. Толстой ничего не знал о Маше, ничего не говорил о ней. «С голыми ногами».

Свиягин думал о природе банальности, – вещах, истертых от повсеместного употребления, известных на слух любому дураку. «Я пришел, ты ушла», «А он ее любит, а она его нет». Гениальность же всегда понимал Свиягин как ту же самую банальность, однако тонко схваченную, неслучайно и внятно названную, когда сказать о том же другими словами уже невозможно.

Но состояние любви опять ставило всё с ног на голову, возвращало на круги своя. Любовь поселяла равнодушие к вещам, казавшимся прежде умными и значительными, а вещи, казавшиеся прежде пустыми и банальными, наполнялись новым, невыразимо щемящим содержанием. И все банальности относились теперь к нему.

Оказывалось, что настоящая жизнь собственно и заключается в состоянии любви, во взгляде на всё через одну любовь, в наполненности всего и вся вокруг одной этой любовью.

«Как мне могла нравиться прежняя моя повседневность и прежние праздники? – изумлялся Свиягин. – Почему по ощущению счастья мне могли казаться не сравнимыми ни с чем прошлогодние утренние окна Москвы, залитые солнцем, мое одиночество, хрустящий снег под ногами? Какой в этом был смысл, какое такое счастье, в красивой, но пустой Москве, без Маши?»

И наоборот, всё, на что падал Машин свет, делалось теперь единственно оправданным и уместным. А банальные слова, пропускаемые прежде мимо уха? Попса пела свои песни, но это было пошло оттого, что их «ля-ля-ля, я без тебя никуда, скорее мне ответь, ля-ля-ля» – им самим ничего не стоили, им всяко лыко было в строку. Но что это за банальностью были слова: «от этих объятий мне только больнее» и «больше ничего не будет»? Они вышибали слезы и значили так много потому, что звучали не просто, как красивая, но пустая Москва, а были нагружены тяжестью всего пережитого и потерянного Свиягиным. Они были символами, они были яркой метафорой, памятью последних взаимностей и зави-

симостей, они были просты и одновременно глубоки, как притчи и пословицы. Они были живы, потому что им еще, хоть мысленно, но можно было возражать.

Банальность – это то, что известно любому дураку, общее место, нечто, лежащее на поверхности. И такое с кем-нибудь наверняка уже было – поэт и балерина, любовь и расставание в слезах! Красиво, трогательно, без затей. Но ни разу еще не было нигде и никогда любви Свягина к Годуновой Маше. У скольких бы поэтов после всех прозрений и осыпаний словесной шелухи ни вырывалось бы вдогон уходящей женщине простое, как крик: «Я хочу быть с тобой!», – никто не знал, что это значило лично – для Свягина.

Его продолжала поражать эта полная невыразимость чувств словами. Всей глубины, всей той меры привязанности к Маше он не мог бы передать и самым близким друзьям. Слова «поэт и балерина» – внесли бы в эту глубину мельчащую ее экзотику, привкус красивой романтической истории. Да и какими словами *это* можно было передать? «Полюбил я женщину, а она оказалась не женщиной, а балерина»?

Вино не приносило успокоения. Это была одна из разновидностей самоубийства – напившись, он не притуплял своей привязанности, а вновь «попадал не туда, куда хотел»; думая о Маше, не держал ее образ нежно, в руках, оберегая и дорожа, а десятками шатающихся и разбредающих мыслей заходил в десятки новых безвыходных тупиков. Он оставил пьянство и засел за работу. Но груда исписанных листов не передавала и малой доли того, что он чувствовал – слово Свягина оказывалось бессильно, эмоции в стихах походили на залаженные в классическом танце движения, а образ Маши, такой дорогой одному ему, тускнел, овеществляясь в сравнениях, доступных всем. Слишком личным было то, что хотел выразить Свягин, слишком мало оказывалось слов и сравнений, которыми возможно бы было охватить Машу целиком, одной линией, единым куском, как прежде когда-то руками всю – обнять. И он больше думал о ней, чем сочинял.

Ах, как она была хороша! В ней было что-то от стрелы, несущей на легких перьях остро отточенную сталь. В ней была и ажурная устремленность взмывающей ввысь готики. Как в солнечный морозный день верхушки деревьев в парке, их полупрозрачные, покрытые инеем ветки больше принадлежат воздуху и небу, так и в ней было мало того, что называют вещественным, бытовым, плотским, – всё в ней было линейно-изящным, от морозного воздуха, от солнечного неба. Она была красавица. И в ней было какое-то неуловимое волшебство, чертовщинка, свойственная ей одной и одним этим безоговорочно ее от прочих отличающая.

...Отражения и тени того, во что уже с трудом и верилось, стали настоящим Свягина, его истинной реальностью. Он бродил по улицам, по местам, где они когда-то напоследок с Машей прохаживались. Свягин любил любые Машины проявления в этой действительности, в подробностях и деталях быта. Подлинник был безусловно потерян, но копий, отражений оставалось предостаточно. Свягин на спектакле заглядывал как бы ненароком в табель вызова. «Виллисы, – значилось там, – Перегудова Т., Чулкова Э., Годунова М., Щапова О.».

Это беспристрастное «Годунова М.» всякий раз полосовало по сердцу, завораживая страшной догадкой о существовании реального подлинника. Станным и щемящим было это чувство отдельности каллиграфической табельной записи от того образа, который помнил Свягин. Но и достаточно было просто увидеть

глазами: «Чулкова Эльвира... Щапова...» – в этих каракулях тоже была не меньшая отнесенность к Машиному образу.

Всё окружающее было ее частью. Вещи знали о ней, помнили ее. Некоторые были знакомы с ней нынешней. Восприятие Свягина стало избирательным, он видел и чувствовал в подавляющем большинстве то, что имело хоть какое-то касательство к Маше.

Постепенно город принимал ее очертания и душу. Изгиб дороги был похож на линию Машиных плеч, снежная метель показывала, как Маша танцует, а деревья весною шелестели ее нарядами. Память о ней несли дома, аллеи, вечерние окна, потоки машин, фонари и фары.

Или это она принимала очертания города? Ее уже не было. Ее имя стало другим. Ее имя носили названия улиц. Она стала строкой стихотворения, она перестала быть человеком, она разлетелась тысячей утренних птиц.

2.

Статистики и социологи говорят нам, что совпадения – это не мистика, а события в границах статистических вероятностей, и даже самые невероятные из них находятся «в нашем глазу», то есть это лишь следствие нашей концентрации на тех или иных предметах, каковая концентрация и создает иллюзию совпадений. Однако Свягин не согласился бы со статистиками и социологами.

Читая статью о декабристах, Свягин в письме Раевского сразу наткнулся на знакомое: «Красноярск есть центр золотопромышленных дел Енисейского, Канского и Минусинского округов». Упоминание Машиного города рисовало ему знакомый образ, но он закрывал книгу и включал радио. Такого не могло быть, но динамики сухо сообщали: «Ежегодно Красноярское балетное училище выпускает...» – «Совсем, что ли, обалдели...» – возмущался Свягин, щелкал переключателем программ и слышал: «...пять-двадцать семь, в Красноярске восемнадцать-двадцать...»

Иногда снаряды ложились совсем рядом. На вокзале незнакомая женщина средних лет, которой он помог поднять по лестнице чемодан на колесах, поведала ему, что едет навестить дочку.

– В Красноярск, наверное? – вырвалось у Свягина. – Он отчего-то был уверен, что ни социология, ни статистика не знали прежде его личного случая и, как бы ни объясняли совпадения концентрацией на тех или иных предметах, но совпадения эти были чистой мистикой, когда подобное просто притягивало к себе подобное независимо от желаний Свягина. Тут можно было еще к разрешению загадки подключить Юнга с его теорией совпадений, но Юнг не разрешал главную загадку – почему Свягин и Маша не вместе.

– Да, в Красноярск, – удивилась женщина, – откуда вы знаете?

– Да что-то один Красноярск в голове и крутится.

– Дочка у меня там, в балетном учится.

– Балериной, значит, будет? – спрашивал Свягин, чувствуя себя участником какого-то розыгрыша.

– Да. Если б вы только могли представить себе, что это за удивительная профессия!

Еще пару дней спустя Свягин шагал мимо кооперативной палатки звукозаписи и услышал незнакомый романс на стихи Пастернака:

«И своей балерине,

Перетянутой так,
Точно стан на пружине,
Он шнурует башмак».

– Это – кто? – сунул голову Свягин в окошко.

– Герман, бард такой новый, – ответствовала девушка из палатки. – Не слышали?

– Эй-эй-эй, – заволновался Свягин, – тут какой-то сбой, это на вас непохоже. Вы должны крутить «Массовый лай» или «Бухгалтера» там какого-нибудь! Блатота какая-нибудь есть?

– Не знаю, помешались все на этой попсе и шансоне, – устало вздохнула девушка, на лице которой была написана лютая ненависть к собственной профессии. – Один раз для души поставишь что-нибудь стоящее, и сразу удивляются, лезут, как будто другой музыки на свете нет, – она выключила запись. – Так что, «Комбинацию» вам или что? Качество сразу слушайте, назад не принимаем.

– Кольцо сжимается, – злорадно-торжествующе вышагивал по Тверской Свягин. – От повального выныривания отовсюду Красноярска мы переходим к вещам более конкретным. «И своей балерине, перетянутой так...» Да из коммерческой палатки!

Напоминания о Маше продолжали его преследовать, то там, то тут возникая с неотменимым постоянством, мучая Свягина, подчеркивая и усугубляя леденящую догадку о неслучайности той сорвавшейся роли, отведенной им обоим. Конечно, любое узнавание притягательно – в свягинскую тоску подмешивалось и светлое чувство – косвенные мелочи и детали, нити, протянутые не от реального человека, а от дорогого образа, ставшего воспоминанием, давали иллюзию хоть некоторого его приближения и удержания в руках, ощущение лучших минут прошлого – как непременно всё еще сегодняшних, то есть их не-забывание. Но новая волна тоски опять накатывала и накрывала – всё.

Дома Свягин прослушал прогноз погоды в Красноярске, – его *порадовало*, что сегодня в Красноярске теплее обычного и нет дождя. Он уже и не удивился, когда вечером включил телевизор и увидел на экране Машу. Он припал к телевизору. Первая программа транслировала запись новой постановки театра, Маша была в костюме и гриме, танцевала новую партию. Со времени разрыва еще не было у Свягина возможности так близко рассмотреть детали ее нового лица, все штрихи и подробности. В этой постановке она танцевала в тройке с Урсулой и Эльвирой, ее партия была второго плана, но оператор будто нарочно для Свягина выделял одну Машу, задерживая на ней камеру и укрупняя план, игнорируя подруг.

Он жадно всматривался в Машу, ища следы своего отражения в ее облике, хоть какой-нибудь едва заметный отпечаток бывшей Машиной ему принадлежности. Но как и не было никогда у этой девочки никакого Свягина – она танцевала вдохновенно, во всю силу, а перед экраном будто сидел какой-то самозванец, жалкий выдумщик и фантазер.

Был туман, а Свягин прошел, как дождь, и снова Маше выглянуло солнце, и лужи высохли, и дождя будто не бывало, и снова – легкость прыжка из корпуса, замирающие отставания рук, чистота линий и красота пластики, чужая жизнь и чужой праздник.

3.

Если бы инопланетяне существовали, то для общения с людьми им надлежало первым делом изучить нашу азбуку. Идея инопланетян хороша своей модельностью, на ней можно отрабатывать психологические трюки и, как на некоем девственном материале, не вовлеченном в наши проблемы, проверять человеческие реакции. Невроз Свягина самым неизбежным образом привел к тому, что наш герой сам невольно стал таким подопытным инопланетянином. То ли в попытке понять себя и происходящее с ним, но скорее просто от увлекающей, даже засасывающей в аэродинамическую трубу тяги к незнакомому Машинному миру, Свягин засел за «азбуку» балета, а также книги по искусству, связанные с танцем.

Цветаева писала:

«Не чту Театра, не тянусь к Театру и не считаюсь с Театром. Театр (видеть глазами) мне всегда казался подспорьем для нищих духом, обеспечением для хитрецов породы Фомы Неверного, верящих лишь в то, что видят, еще больше: в то, что осязают. – Некоей азбукой для слепых. А сущность Поэта – верить на слово!»

Это было слабым утешением, это Свягин уже проходил. Но если бы задумал он одним образом, всего в нескольких строчках показать всю ту пропасть, лежащую меж искусством балета и поэтическим словом, ему б и жизни не хватило высказать это так, как это невольно, само собой, выговорилось у Вагановой:

«Не раз я задумывалась над стихами Пушкина:

*Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит –*

на нашем языке это как будто одной ногой исполняется *rond de jambe en l'air*, в то время как другая нога стоит на пальцах (т.е. нога остро стоит на кончиках пальцев). А может быть, исполняется не *rond de jambe en l'air*, а обводится ногой *grand rond de jambe* на 90°, потому, что говорится – медленно кружа. И дальше:

И вдруг прыжок, и вдруг летит –

куда летит – ввысь или устремляется вдаль? Написано красиво, но, к сожалению, нам трудно изобразить эти стихи Пушкина в движениях – все будет находиться в состоянии фантазии».

– Очная ставка, – усмехнулся Свягин. – И неожиданное признание!

Поэт Цветаева, считающая веру на слово сущностью поэта. И вечная балерина Ваганова, теряющаяся перед тем, что не относится к осязаемому руками и видимому глазами. Свягин не мог поверить в возможность подобной слепоты – сам он ясно видел за прозрачными строками Пушкина всё, что танцует балерина, всё, что хотел передать и легко передал поэт – и это вращение на одной ноге с кокетливым постукиванием кончиком пуантов по полу, и внезапный упругий бросок тела – намеренный слом пасторальной картинки, своей взрывной энергией кон-

трастирующий с предварительным кокетством; зависающий прыжок с прямым корпусом, но отнесенным назад, отстающим и как бы догоняющим раструбом платья. Свягин припоминал даже, что нечто подобное он видел в «Жизели», в постановке Перро и Королли. Истомина могла танцевать этот балет лишь десятилетие спустя после пушкинских строк, однако, доведись Вагановой понимать и чувствовать слово, она легко могла бы вычислить описанный фрагмент. Кроме того, делая упор на некий «свой» язык, она как бы не относила русский, пушкинский язык к разряду кровных; написано, конечно, красиво... Пушкин, это – «написано красиво»! Написано красиво, но, к сожалению, изобразить Пушкина в движениях нам трудно!

«Что же это за язык, что за мир, из которого нет выхода, из которого ни Пушкиным, ни любовью не вытянешь, а где кто высунется, там сразу назад и втянется?» – думал Свягин.

Он в несколько дней изучил балетную терминологию, основные понятия и позы классического танца, формы переходных движений и виды прыжков. Это было не сродни изучению иностранного языка, – это было с замирающим от страха сердцем погружением именно в какой-то инопланетный мир, в пугающую рассудок область чужих владений, в загадочные дебри зазеркалья. Для людей, выросших в ненормальном по нашим представлениям мире, их собственный мир представляется нормальным. Что же касается Свягина, то ученые могли бы теперь накрыть его стеклянным колпаком и изучать, как некое «чистое» инопланетное для балета существо, зараженное балетным вирусом. И сам Свягин был похож на ученого, добровольно заразившего себя проказой или, лучше того, бычьим цепнем, чтобы выяснить его воздействие на организм, а также помочь остальным, идущим ему вслед, диагностировать паразита.

Поначалу он не мог отделаться от иронии, с какой бы любой здравый человек читал эти книги, напоминающие чем-то кулинарные: «Возьмите две ноги, откиньте одну руку». Он потешался над фразами «голова является важной составной частью позы такой-то...», «объем движений, *мыслимых* для ног», «смысл воспитания ног заключается в том-то» и «правильное нахождение своего места для рук завершает художественный облик танцовщицы»!

Иногда балетные справочники напоминали руководство по разделке мясных туш:

«При отведении ноги бедренная шейка сталкивается с краем вертлужной впадины... Если же повернуть ногу *en dehors*, – большой вертел отходит назад, и в соприкосновение с краем вертлужной впадины приходит боковая плоская поверхность бедренной шейки, что имеет следствием возможность отвести ногу в сторону на 90° и даже на 135°».

Многие слова, знакомые Свягину, имели в том мире совершенно иное значение. «Танцовщик прежде всего должен выработать в себе апломб». «Во, чему учат!» – изумлялся поначалу Свягин, но тут же узнавал, что апломб, это ровно поставленный корпус. «К прыжку нужно присоединить баллон», – читал Свягин, понимая из текста, что речь идет не о газовом баллоне, а о зависании в прыжке.

Ваганова, с которой начинал свое обучение Свягин и чей язык оказался впоследствии самым живым из всех балетных авторов, писала в своей книге, ободряя

Свиягина: «Те элементарные объяснения, которые я здесь даю, предназначены для желающих уяснить себе эти понятия».

Свиягин желал. Свиягин верил на слово.

«Возьмем первый пример *en dehors*, – растолковывала Агриппина Яковлевна для тупых, для тех, кто не задумывается, как изобразить Пушкина в движениях. – Это *rond de jambe par terre*. Тут не представляется никаких затруднений: нога двигается наружу, описывая дугу вперед, на II позицию и назад».

Самые «элементарные объяснения» для «желающих уяснить», о которых говорила Агриппина Яковлевна, возможно, и не были столь сложны, но не подразумевали обращение к человеку постороннему, не из балетного мира. Любой физик, пытаясь растолковать элементарные понятия физики, принимает во внимание даже не знакомого с языком физики школьника, однако автономность и герметичность балета никаких иных желающих «уяснить понятия», кроме самих танцующих, не предполагала. Возможно, это было по-своему логичным, ибо какой сумасшедший захочет не только разбираться в нюансах танцевальных движений, но и в их французской номенклатуре?

«Для объяснения понятия *en dehors* в *turns* и вообще в поворотах вокруг своей вертикальной оси самое простое, элементарное объяснение будет и самым понятным. *En dehors* поворачиваешься, когда вертишься от ноги, на которой стоишь, т.е. если стоишь на левой ноге, а вертишься направо, – поворот будет *en dehors*, и с другой ноги – наоборот – налево. Обратное понятие (*en dedans*) – вращение внутрь. Для *ronds de jambes* объяснение аналогично, только соответственно изменяется направление. В *turns* поворот будет к ноге, на которой стоишь, т.е., если стоишь на левой ноге – поворот налево, с другой ноги – наоборот – направо. Усвоив эти основные понятия *en dehors* и *en dedans*... в более сложных случаях легко будет разбираться».

Но Свиягин тоже был ученик упрямый, даже вредный. Он штудировал книгу за книгой, уточняя детали и сглаживая разночтения. Одно понятие тянуло за собой другое, он вытягивал всё это по крупицам, пытаясь разобраться, не допустить каши в голове или проглядеть что-либо существенное. Его уже не пугало, что виды *port de bras* разнообразны до бесконечности и каждая форма своих особых названий не имеет. Он дошел до понимания того, например, почему поза *ecartee*, это то же *developpe* II позиции, но в сильно развернутом виде.

Учение стало захватывающим. Заметил Свиягин, что и в этом подводном, зазеркальном мире есть свои разночтения и споры. «То, что *plie* начинают проходить... с I позиции, вовсе не случайная и не глупая традиция, – осторожничала Ваганова. – Хотя и раздавались голоса, предлагающие начинать *plie* со II позиции, но я к ним присоединиться не могу».

К этому моменту Свиягин, уже проникшийся доверием к Вагановой (а в балетном мире авторитет педагога первое дело), был едва ли не возмущен подобными голосами – для него казалось очевидным, что изучение плии следует начинать с первой позиции, и ни с какой другой начинать не следует. Но дороги зазеркалья несли его дальше. Из всех батманов, существующих на белом свете, в поднебесье и в подлунном мире, более других пришелся по сердцу Свияги-

ну *battement developpe tombee*. Делался этот батман на середине зала, иногда у балетного станка, но знал также Свягин – и с нижней ступеньки автобуса. Да, да, то самое – левая нога поднимается сделать *developpe* вперед, но по левую сторону стоит Свягин, подавая руку, – нога меняется, левую руку – отдать Свягину, правой ногой *developpe* вперед, левая – на полупальцы, правая – носок вперед, и – падение вперед! На возможно большее *plie*! Вперед – к будущему! К этой повести, именуемой любовью, к разговорам, посиделкам, к ночным кострам, единственным минутам, а там и к слезам, к признаниям, к свягинским отражениям и учебникам! К этому отсечению, открамсыванию, отрезанию по куску от свягинского сердца, к этой невнятице его речи и к этому страшному, нечеловеческому, пугающему: «Больше – точка – Ничего – точка – Не будет». Точка.

4.

Однажды Свягин почувствовал какую-то дурноту, подступившую к горлу. В груди заняло так, будто оттуда выкачали воздух. Он закрыл книгу и отодвинул ее от себя подальше.

Он понял вдруг, что втянулся во что-то запретное, идущее вразрез с его сущностью поэта, не составляющее ни малейшей жизненной необходимости – не танцевать же он собрался! Ужасным было то, что балетная абракадабра, постепенно выстраиваясь в гармоничную систему, так же постепенно, подобно наркотику, не отпускающему и требующему все новых инъекций, – затягивала его сознание в это зазеркалье. Чем больше Свягин уточнял детали и копался в подробностях этих мертвых, неприложимых к живой действительности рон де жамб и пор де бра, тем острее чувствовал, что пути назад нет, и нет выхода оттуда, возвращения в живую реальность, и что этим знанием нельзя владеть поверхностно, а нужно пройти весь путь до конца, что «коготок увяз – всей птичке пропасть». За это знание нужно было жертвовать свободой непосредственного восприятия мира, кристальной чистотой зрения.

Свягин поймал себя на том, что у него начинает меняться отношение к своей прежней реальности, что он воспринимает мир уже немного по-иному, под балетным углом зрения. Он почувствовал себя в ловушке – никогда не сделавший ни одного па, но знающий теорию классического танца, Свягин почувствовал, что сходит с ума; чем ближе он подходит к пониманию скрытой сути балетной психологии, тем меньше он может выразить это словами, тем немее становится, а зреют в нем только маниакальный балетный азарт и страсть дальнейшего самоистязания. Как будто балет, одномерная, строгая математическая наука, накладывает печать своей одномерности на поэта, затыкает рот, сжимает горло металлическим циркулем, запрещая помыслить о многообразии его миров.

«Что это за новый бард Герман такой? – думал Свягин тупо. – Уж не пушкинский ли? Но тот вроде Германн».

Он открыл том. Пушкин писал:

«Тройка, семерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз – преследовали его во сне, принимая всевозможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком».

Всё это засасывало с неумолимостью трясины. Ночью ему стали сниться балетные кошмары. Он видел себя то ребенком на балетном утреннике, то юношей, впервые пришедшим в театр. «На третьем семнадцатый» (то есть команда опустить на третьем плане сцены семнадцатый штанкет), – откуда это? Ах, да, опять то же, тройка, семерка, туз. И на утреннике, и впервые в театре он уже знал, что потерял ее, Машу, – а они еще не были знакомы. Семь уровней театра, от трюма до колосников, были как семь этажей неба, семь уровней бытия; сам он был вечным троечником в делах любви, а открывая тузовую карту и желая говорить с Машей, он видел все время других людей, мешающих ему – Эльвиру, Урсулу и смеющегося Майданова. Майданов был убитой им старухой. Маша же и во сне избегала показываться Свягину.

И вот теперь он, отодвинув от себя очередную книгу, почувствовав, что его сейчас стошнит.

– Мать вашу за ногу... – пробормотал он. – За ногу, даже тут нога вылезла. «Смысл воспитания ног»! Да я – Смердяков, спятивший с ума и выписывающий французские вокабулы. Гран рон де жамб! Я только сунулся туда, поиграл со зверем, а мне уже чуть голову не оторвало! Чего же от *них* требовать, каких речей и открытий, какого понимания и каких поступков? Всё, хватит! Пора, пора! Пора этот бред заканчивать, – или этому надо отдать всю свою душу, перестать быть нормальным человеком, онеметь и ослепнуть для остального, или это надо обрубать сейчас, иначе потом будет хуже.

Свягин сказал последнюю фразу и ужаснулся ее знакомости. А ужаснулся он оттого, что не просто повторил Машины слова, сказанные ему напоследок из зазеркалья, а оттого, что на секунду как бы внутренне поменялся с Машей местами, стал ее отражением, посмотрел на пожизненную принадлежность своему единственному миру – ее глазами.

Все-таки они были по разные стороны зеркала.

Стояла осень. Низкое солнце схватывало весь город в боковом освещении как бы единым куском. Щедро сыпались листья. В аллеях дымили костры. Сорт яблок Сары Синап вкусом напоминал детство. Школяры с портфелями мечтали – хотя б еще на денек, на два! – о продолжении каникул. Пригородные поезда приносили тысячи дачников с рюкзаками и корзинами и море последних цветов. Всё дышало еще свежим воспоминанием о лете, тянувшимся прощанием с ним.

Свягин решил сбежать от своего сумасшествия в деревню.

Маше же предстояло каждое утро начинать с плие на пяти позициях, в два такта по четыре четверти – одно медленное на четыре четверти, другое быстрое на две четверти и на две четверти с подъемом на полупальцы. Затем батманы тендю. Их следовало делать вперед по четверти – два с плие, два – без плие, три – по восьмым, на четвертой восьмой – пауза; семь – по шестнадцатым, на восьмой шестнадцатой – пауза; далее то же в сторону и назад, опять в сторону то же, далее следовало повторить упражнение, а затем повторить все с другой ноги. Затем батманы фондю и фραπε, комбинация на восемь тактов по четыре четверти. Вперед: один фондю медленный на две четверти, два быстрых по одной четверти. То же в сторону, то же назад. Опять в сторону – то же. Два фραπε медленных по одной четверти, три быстрых по восьмой; четвертая восьмая – пауза, четыре раза. И всю комбинацию повторить, начиная в первый раз назад. И – с другой ноги. И так далее, до бесконечности.

5.

В электричке какая-то женщина с вязанием в руках наставляла свою дочь-школьницу:

– Смотри, ну это же просто. Три лицевые, одна изнаночная, семь накидов, одна изнаночная, повторить – шесть раз, одна изнаночная, три лицевые!

– Сука! – ужаснулся про себя Свягин. – Везде одна математика, числа, комбинации и повторы.

– Что вы так на меня смотрите, молодой человек? – спросила попутчица, поймав его тяжелый взгляд.

– Извините, задумался о своем.

Женщина, ткнув дочь в бок, продолжала:

– Дальше, с третьего по шестой – по рисунку, седьмой – по первому, три лицевые, одна изнаночная, семь накидов.

Свягин еще сразу после шипения закрывающихся дверей и начавшегося движения электрички достал из рюкзака пару книг и брошюр о рыбалке, но первой открыл книгу Сабанеева. Сабанеева он любил, Сабанеев был ему маслом по сердцу. Это была поэзия рыбалки, Сабанеев был патриарх озер и рек, Сабанеев был Пушкин ужения, проводки, подсечки: «Почти всегда клочат плавом, очень редко заякориваются на яме». Свягину нравилось, как от чисто технических описаний Сабанеева, как настоящего рыбака, всё время заносит «не в ту степь», уводит в сторону, на грань рыбацкого вранья: «Сом подходит к ботнику (случается, что подходит их несколько), наваливается на весло так, что весла не сдвинешь с места... причем виснет, точно гиря!» И современный теоретик рыбалки, комментируя Сабанеева, писал: «Квок берут в руку таким образом, чтобы его ручка составляла с предплечьем угол в 45–50°. Исходная позиция – положение один. Затем руку изгибают, плечо пока неподвижно, и квок входит в воду. От положения два плечо начинает поворачиваться, движение убыстряется... ручка квока принимает горизонтальное положение три. В этот момент начинает работать кисть, которая резко поворачивается... Положение четыре – конечное».

В этих строчках было что-то ужасно знакомое, но нет, Свягина было уже не купить на движения, которые проделывают части человеческого тела.

«И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоел».

«Затем руку изгибают, плечо пока неподвижно...» Но пропасть лежала меж этим рыбацким поучением и миром зазеркалья, ибо вот что отличало зазеркалье от реальной жизни – движение там было не подспорьем, а высшей ценностью. Движение было самоценным, части тела были не средством познания мира или донесения сведений о нем, а самим миром, ноги мерялись категориями нравственности – воспитание ног, движения, мыслимые для ног... Ноги можно было в автобусе закидывать за уши соседу, но на сцене они должны быть «воспитаны».

«Ошеломленный сом лежит спокойно или вовсе засыпает, – писал Сабанеев, – но нередко приходит в себя, начинает биться... В дурную или ненастную погоду сом лежит на дне, не поднимаясь, и не слышит клоченья...
Близ станицы по вечерам можно видеть на Дону несколько баркасов; на

каждом из них сидит рыбак и клочет; снесет его течением – он возьмет весло... снова повернет на самую середину, и клочет, пока его опять не снесет вниз...»

6.

В деревне, за огородами, на личных земельных полосах вовсю шла уборка картошки.

– Бог помочь, Петрович! – приветствовал Свягин соседа. – Картошку убираем?

– Да, ее, родимую, – отвечал Петрович. – Картошечка-то в этом году... тово...

– Что, «тово»?

– Болезнь какая-то водяная, долго лежать не будет. Погниет до весны. Дождища-то в этом году! Оно, правда, у меня сорт специальный, хороший. «Лыковка». Слышал?

– Нет.

– Из-под Красноярска. Сестра привезла.

– А, ну да, – сказал Свягин. – Откуда же еще ей быть? Спасибо, что напомнил! Хорошо хоть, что «из-под»! А не из самого Красноярска!

– Чего, спасибо-то, а? – удивился Петрович.

С совхозных полей картошку убрали еще в середине недели, но к нынешней субботе был приурочен «праздник урожая». Из райцентра в деревенский клуб приехал автобус с художественной самодеятельностью и рок-группой для завершающих праздник танцев. Все изменилось с «застойных» времен – теперь, чтобы попасть на танцы, нужно было купить билет, оплатив заодно и хлопоты завклубом по доставке артистов и организации вечера.

Свягин купил билет, зашел в клуб. Художественная самодеятельность старалась вовсю, молодецкой удалью и широкими улыбками показывая неиссякаемый оптимизм народного характера, но в зале стоял легкий несмолкающий гул – собравшиеся, преимущественно молодежь, с плохо скрываемым нетерпением дожидались окончания «культурной» программы, чтобы уже вовсю «оторваться» на танцах.

Баянист наяривал «Полет шмеля», потом ушел под жидкие аплодисменты. К микрофону вышла ведущая, вся накрашенная, на помаженая, начесанная и залитая лаком. В эту эпоху у многих столичных девушек было стильным физически и ментально раскрыть, «размотать» свой образ как можно шире, однако у девушек еще прошлой, советской ментальности, целью было, напротив, свой образ зафиксировать и сохранить. Ведущая прочла с листа:

– Глазунов...

Свягин рассмеялся. «Раймонда», братцы, «Раймонда»! – воскликнул он, впрочем, не вызвав никакой реакции даже у деревенских знакомых, поскольку почти все собравшиеся в зале на сцену смотрели равнодушно.

– Сцена из балета «Раймонда», – подтвердила ведущая его догадку.

Это было очередное совпадение. Это была Машина партия. На сцену вышла девочка лет четырнадцати в синей балетной пачке и начала танец под пульсирующие звуки музыки Глазунова.

– Нет, ну надо так попасть! – с саркастической усмешкой сказал вслух Свягин. – Сбежишь черт знает куда, а тут... Высокое искусство понесли в широкие массы. Сейчас в погреб залезу, и там, бля, отыщут и балет покажут!

– Вы что, не любите балет? – спросила его билетерша, случившаяся рядом, тоже вся залитая лаком. Свягин едва не застонал.

– Вижу, вижу. Потерпите, молодой человек, недолго осталось. Потом будут танцы.

– Не надо мне танцев! – страшно оскалился Свягин. – Никаких!

– Эй, Серега, здорово! – хлопнул его по плечу один из деревенских приятелей.

– Ты куда запропастился-то? Забыл нас совсем?

– Да уж вас хер забудешь, какие вы все яркие. Нет, работал. Сейчас отпуск взял. Порыбачить хочу на Волге.

– Картошку свою убрали?

– Да вот завтра с теткой собираемся.

– А мы сегодня убрали. Я чуть не помер утром, – нагибаться-то какво с бодуна!

– А Сашок где? Что-то я его не вижу.

– А во-о-он, вон он, у колонны. Видишь? Но он сегодня отрезанный ломоть. К нему гости приехали. Между прочим, один из них англичанин. Которого Сашок аж с позапрошлой зимы дождался. Ну, помнишь, я тебе рассказывал? Англичанин, который через костер еще прыгал? Вон он, стоит. А вон тот, с ними – родственник Сашкин, который в тот раз англичанина привозил. Говорят, писатель. О балете, говорят, сейчас новую книгу пишет. Ты его не знаешь?

«О, боги! Опять! Опять!» – чуть не затрясло Свягина. Он посмотрел на писателя, тот что-то рассказывал окружающим, бесцеремонно заводя англичанину руки за спину и назидательно поднимая палец кверху, вокруг смеялись.

«Резвятся, как дети, – подумал Свягин. – Много вас, таких писателей, разве-лось. Что ты можешь знать о балете? Писатель херов!»

– Первый раз вижу, – отрезал наш герой и пошел на выход.

7.

Здание телецентра «Останкино» уже горело. Говорили, что собравшиеся долго не решались начать штурм, пока один какой-то удалец не пальнул из гранатомета по входным дверям, убив спецназовца. Таранили вход грузовой машиной, и ответом защитников был шквальный прицельный огонь.

Еще с утра в городе творилось что-то невообразимое. Тысячные толпы разоружили московскую милицию – здесь, у телецентра многие из штурмующих были теперь экипированы бывшими милицейскими бронежилетами, касками и щитами. Многие были вооружены АКМС'ами, по слухам, свободно раздававшимися у Белого дома. Новые пополнения спешно формировались в колонны под красными флагами, часть их отправлялась на грузовиках в Останкино, часть пешим ходом по Калининскому двигалась к зданию правительства.

Исход борьбы казался очевидным – федеральная армия как провалилась куда-то со всеми своими танками, пушками и вертолетами, а на улицах Москвы не осталось ни одного милиционера. Противники президента справляли победу. Всякой посредственности и бездарности нашлось тоже много работы – и то: нужно же было кому-то, как это полагается во время всяческих революций, поджигать рекламные щиты, громить и разбирать чужие машины, бить окна, а то и просто, для торжества над сложностью мира опрокидывать мусорные контейнеры.

«Скажи своим е...ным зрителям, что народ победил!» – орали они кинооператору, поскольку революция освобождала их, наконец, от тягостной обязанности жить общими со всеми нормами. Выплеснулось всё, зажатое прежде «интелли-

гентскими» условностями. Генерал Макашов в «педерастическом» беретике, снимаемый операторами и уж наверняка входящий нынче в новейшую историю примером потомству, орал в мегафон во всей своей орлиной стати: «Брать мэрию штурмом! Телефоны обрезать, чиновников выкидывать нах...!» Стреляли из автоматов просто так, для смеху, поугубить товарищей. К вечеру многие перепились. Организованность от нуля стала сползать к минусу. Главные зачинщики беспорядков, сидевшие в Белом доме, уже догадались, что теперь события развиваются помимо их воли и спешно присоединялись в речах к восставшим, с дрожью в голосе подтверждая настроение многотысячной толпы: «да, на Останкино, да, на Кремль, да, сбросить банду Ельцина». Но и уличные воеводы уже едва справлялись с ошалевшей, разгулявшейся толпой – спасала возможность дать недовольным поиграть в войну, походить колоннами под опальным красным флагом, выразить свою ненависть к режиму.

Когда стемнело, Свягин перебрался к телецентру поближе. «Стреляют на поражение», – предупреждал всех любопытствующий какой-то мужичонка, залегший за деревом с бутылкой водки. Толпа безуспешно пыталась ворваться в здание телецентра, ее при каждой попытке обстреливали автоматными очередями.

Здание продолжало гореть. Кой черт занес сюда Свягина? Чего ему здесь было надо? Он лежал в придорожной траве и смотрел на происходящее со стороны. Автоматные очереди были сухи и дробны, небо над Свягиным, бездонное ночное небо Москвы, то и дело прочерчивалось трассирующими пулями. К зданию телецентра подъехал бронетранспортер. «Чей это БТР? – зашумели в толпе, – наш?» – «А черт его знает. Ваш, это чей?» – «Ну чей-чей? Наш, это который за народ». – «За Россию?» – «Ну да». – «За Ельцина, что ль?» – «Да за какого хрен Ельцина, за народ». Бронетранспортер развернул башню и обстрелял здание телецентра длинной трассирующей очередью. Светящиеся пули высекали из мраморного цоколя снопы искр, разлетались в стороны, рикошетили. Огонь был слепой, не прицельный, но штурмующие облегченно вздохнули. Между тем БТР прекратил огонь на секунду, замер, как бы раздумывая и, развернув башню, ударил теперь из пулемета по толпе. Одному из штурмующих сразу разнесло на куски голову, еще несколько человек упали ранеными. «Чей?» – орали в толпе. – «Неясно. Надо его сжечь, чтоб воду не мутил». БТР забросали бутылками с бензином, он загорелся, Свягин увидел, как открылись задние бронедверцы, и экипаж отступил. Из здания снова открыли плотный огонь. И опять светящиеся штрихи полетели в ночном небе, на излет, за горизонт, опять ближние пули зацокали по асфальту и глухо застучали по газону. Свягиным овладело равнодушие к происходящему.

Маша, перестав быть человеком, стала городом. Но вот и город этот кончился. Ну, вот и кончилось всё.

А все-таки она была красавица. И артистка какая была! Она была тем случаем, когда сознательно сделанная ошибка выглядит гениальным исключением, звучит с особой выразительностью.

Глава 7. Магия и геометрия. Прощание с кругом

1.

Затем был еще пятиэтажный отель в пригороде Парижа, уютный, какой-то весь домашний, проникнутый насквозь доброжелательством персонала и заботой

о гостях, по вечерам опускающий тяжелые бархатные шторы и зажигающий лампы. Романтические холлы с мягкими креслами, этажи и переходы, мягкие ковры, зеркала повсюду, бесшумно растворяющиеся в воздухе горничные, от которых, как от чеширского кота, остается одна улыбка, вазы с цветами, закаты с силуэтом Эйфелевой башни за отдернутой французской гардиной, а то и вроде бы ни к селу ни к городу – рояль в каком-нибудь закутке, на подиуме, опять с цветами и канделябром, – и садись, наяривай себе «Богемскую рапсодию». Звонки, приглашения, сборы на ужин.

– «Ты куда пошел?» – вопрошали Свягина под утро развалившиеся в креслах и по диванам товарищи. – «Как это, куда? Домой, спать». За окнами уже теплится рассвет, но башня была всю ночь видна, подсвеченная прожекторами, и вот ночь уже и просижена за разговорами. И был взрыв общего веселья. – «Да ты у себя в номере! Это мы у тебя в гостях!» – «Во, черт, и то правда. А ну, тогда выметайтесь все, я спать буду!» – «Свягин, не отрывайся от коллектива. Ты, чай, не один», – говорил полусонный Казимирыч. – «Чай? При чем тут чай? – смеялся Свягин. – Вот, вина выпейте и валите!»

Работа продолжалась, но с французами работать было легко: они были все поголовно гуляки, они и жили, и любили, и работали себе в удовольствие. Осень во Франции была теплой. Повозившись на сцене с час и найдя повод для перерыва достаточным, одной объединенной командой все выкатывались из театра на какую-нибудь зеленую лужайку, разваливались, боролись, дурачились, хохотали. Всё было пронизано юмором и каким-то по-детски несерьезным, беззаботным отношением друг к другу и тому, что творится вокруг. Даже прозвища французов были какие-то несерьезные, мультяшные. «Эй, Бибо!» – подмаргивал главный одному из своих. – «Жё нё конпран па, Шушу! – прикидывался тот непонятливым, гримасничая. – Я говорю-ю по русски...» Шушу показывал ему кулак, и под общий гогот на свет появлялась какая-нибудь бутылочка доброго бургундского.

И отель, где поселился коллектив, довершал картину всеобщего согласия и всеобщего беззаботного отношения к творящемуся вокруг. Дух ли Франции располагал к этому, но глупым казалось после спектакля забраться под одеяло, когда можно было еще продолжать и продолжать веселье. Свягин гулял по ночному Парижу босиком, давая отдохнуть ногам от дневных оков обуви, весь отель ходил ходуном ночь напролет, играла музыка, слышались смех, крики, а кому-то однажды надумалось ночью даже взрывать на балконе петарды.

В один из вечеров, после спектакля, Свягин вернулся в свой одноместный номер. Он закрыл дверь, включил кассетник. Настя Полева пела:

«Над крышами небо,
Всему свое время.
С тобой – твое дело,
В тебя – моя вера».

Но мужской голос возражал ей:

«Со мной – ночью холод,
Желанье напиться.
Опять чужой город,
Усталые лица».

Тут же начали раздаваться телефонные звонки, – хлопцы дошли до своих номеров и уже забеспокоились, стали тяготиться одиночеством. В числе первых позвонил Ухтомцев.

– Сергей! Ужинать придешь?

– Ухтомцев, у тебя что, готовить некому? – засмеялся Свиягин.

– Не бойся, сегодня будешь отдыхать. Казимирыч прямо у меня залез в ванную, под душ, к себе идти поленился. За это он сегодня варганит. Таков уговор. Теперь он одной рукой намыливается, а другой кашку в кастрюле помешивает! Правда, ругань какая-то непотребная оттуда доносится. Может, перепутал чего?

Потом позвонил Шура.

– Эти архаровцы совсем обленились. Опять у них каша, да еще Казимирычу доверили. Говорят, и каша сгорела, и Казимирыч ошпарился. Приходи ко мне, у меня будет картофельное пюре со сливочным маслом, джамбоны и копченые сосиски, сыр с зеленью! Покушаем до заворота кишок!

– Не, Шура, спасибо, устал. Сегодня ужинать не буду.

Свиягин выключил кассетный магнитофон, походил по номеру.

– Балерину, шампанского и на люстре покачаться! – вдруг вспомнил он ни с того ни с сего, рассмеявшись. Он спустился в бар, купил бутылку шампанского и бегом, не дожидаясь лифта, взлетел по лестнице обратно в номер.

Распечатал бутылку. «Хорошая идея! – чокнулся он стеклянным стаканчиком с бутылкой. – Шампанского – это отличная идея, хотя и отдает чем-то фальшивым, салонно-гусарским. Но – из песни слова не выкинешь!»

А Маша жила в соседнем номере. Это было посильнее Фауста Гёте, это было неизмеримо сильней выныриваний отовсюду ее Красноярска и прочих совпадений. Она была за стеной, голова ее по ночам лежала в полуметре от головы Свиягина. И самое поразительное: Свиягин чувствовал, что и это случайное совпадение, их соседство – будто бы продолжение их общего везения, сталкивания их судьбой на пересекающихся тропках, но – сорвавшееся по каким-то странным и трагическим причинам. Как будто по инерции судьба еще предоставляла им шанс за шансом быть рядом. Как будто судьба еще на них рассчитывала, сводила их, сама не ведая или забывав, что всё кончено.

«В сторону – то же. Назад – то же. В другую сторону – опять то же! И так далее, до бесконечности!»

– Зачем же всё это? – спросил Свиягин вслух. – Говорят, что это не решает никаких проблем, но пусть. Другой Маши у меня не будет, а этой и сейчас нет. «Не бойся, сегодня будешь отдыхать». Да, я хоть немного отдохну, может быть, даже выплусь.

Он рассмеялся.

– Да ведь не стена же нас разделяет! Этого же не пробить, этого же не купить ни за какие деньги, не выходить ногами, не ублажить никакими подарками! Ну что, – продолжал он, сам поражаясь глупости неожиданного предположения, – попросить: так, мол, и так? Не могу без тебя? Сделай одолжение, побудь со мной?!

И еще сказал Свиягин:

– И клочет рыбак, и клочет. Снесет его к берегу, а он выгребет на середину реки, и снова клочет и клочет... Пока опять его не снесет!

Он выпил еще.

– Балерина, – сказал он, – балерина. Это мы уже проходили. Моя – не моя, а проходили. Шампанское – тоже проходили. А теперь – на люстре покачаться. Ибо некомплект.

Свиягин знал, что в его номере нет никакой люстры, но сказал это образно. Он открыл окно, вдохнул ночной осенний воздух полной грудью, потом пошел в ванную комнату.

– И клочет, – сказал он, – и клочет. Причем виснет, точно гиря!

Это было обыденно, потому, что все обыденное вокруг и так уже давным-давно стало великим, любому крупному поступку под стать. Продолжительность разлуки давно превысила время их совместного бытия. И ничего – в остатке.

Свиягин посмотрел на себя в зеркало.

Внезапно он понял, что сейчас, в эту минуту, в его голову пришла самая страшная мысль из всех возможных, которая не могла не прийти, поскольку любой художник перебирает все варианты. Вслед за этим Свиягин подумал, что лучше уж любые страдания, явные душевные муки, чем такая унижительная, скрытная, пугающая сама себя, трусость. Если уж прощаться с жизнью по неизбежности, то нужно прощаться результативно – обильно помочиться на голову тупой толпе или вывалить сверху на них свои дымящиеся кишки. Но уходить добровольно – это только радовать чертей. Ничего этим не решишь, не докажешь, никого не накажешь, сможешь лишь вогнать в печаль и скорбь любящих тебя. Всё можно доказать только жизнью.

Психологи скажут о неизбежности компенсации в таких ситуациях, поэтому Свиягин, размахнувшись, со всей силой ударил кулаком в зеркало, разбив его на сотню трещин и серьезно поранив руку. Потом он долго лежал на кафельном полу и плакал, размазывая кровь по плитке.

2.

Нас учили, что искусство – это типическое в типических обстоятельствах. Нас учили, что любовь – это сложный комплекс психологических ощущений и даже рецепторно-химическая деятельность организма.

Да только кто учил, тот сам дурак. Мы-то лучше знаем, что такое искусство и что такое любовь. И ничто не умерло и не погибло – мир стоит на тех же основах.

Однажды, ближе к концу гастролей, Свиягин снял трубку и услышал голос, принадлежность которого он, по неожиданности, не сразу смог определить.

– Сережа, – сказала Маша, вздохнув, – у меня сегодня день рождения. Чем ты занимаешься?

– Э-э... Чем я занимаюсь... – пробормотал Свиягин ошалело, – Ничем. Я свободен.

– Приходи?

Наш герой хотел было немедленно сказать нечто значительное, найдя наилучшую форму ответа на поразившее его, с неба свалившееся приглашение, но в голове забуксовало лишь что-то нечленораздельное и еще эта дурацкая фраза: «со мной – ночью холодно». Забыв даже поздравить именинницу, он пробормотал в трубку нечто совсем уже дурацкое, несуразное:

– Сегодня же... автобус? Выезжаем в ночь?

Маша запнулась, возникла пауза.

– Сережа, я... День рождения-то сегодня. Смотри сам, как хочешь, у меня номер соседний, 371-й.

– Да, знаю, – сказал Свиягин. – Тройка, семерка, туз.

– Да, точно, удивилась Маша.

С тою же силой и определенностью, с которой Свягин когда-то любил Машу, он привык теперь быть без нее, превратив в своем сознании в экспонат музея, поместив в раз и навсегда очерченные его, свиягинской тоской, границы. Свягин не мог говорить со своей выдумкой, у которой вдруг, вопреки музейной сущности, образовался собственный голос и новые направления, но с замиранием сердца чувствовал страшный обвал, что-то ошеломляющее, переворачивающее всю душу.

Появление его в Машинной компании было каким-то жалким повтором, добавкой к его прежним встречам с Машей на людях – всё было тут, на месте, никуда не девалось, и опять раздражало и мешало, отвлекая на себя внимание. Люди, день назад еще служившие ему напоминанием о некоей человеко-балерине, его выдумке, в один миг стали ему сейчас почти ненавистны; «когда мы любим кого-то, мы больше не любим никого».

Воспоминания о наших привязанностях и любовях столь же необъективны, как восторженное отношение к какому-нибудь поэту или композитору, лучшие произведения которых мы выделяем, не беря себе за труд задерживать внимание или обращать память к неудачным. Маша, ставшая лучшими выдержками и цитатами из их со Свягиным встреч, была теперь, на удивление, совсем другая, с другим выражением лица, отвыкшего от взгляда Свягина, с другими глазами, видевшими все это время окружающий мир без Свягина, с другой прической, сделанной не для Свягина, вся – каждой черточкой, каждой деталью – новая, отдельная, самостоятельная, совсем непохожая на ту, которую Свягин по крупинкам, как золото, отсеял себе в своих воспоминаниях.

В номере царил атмосфера веселья, также не имеющая отношения к свиягинским чувствам. «Ну что вы человека держите, – сказала хозяйка, – на пороге». Она по-балетному, жестами передавая свои мысли собравшимся, поёрзала на сиденье за столом, освобождая Свягину место: «Подвиньтесь, наконец. Раздвиньтесь, дайте человеку сесть».

Он сел рядом с Машей.

– Ну, как дела? – спросила она.

Что мог отвечать Свягин?

– Отлично, – сказал он.

– И у меня тоже, – сказала Маша.

– Что, «тоже»? – тупо переспросил Свягин.

– Тоже отлично, замечательно. И Шура Фанерыч у нас, – добавила она еще, давая, видимо, понять, что ее «отлично» связано с многочисленностью собравшихся друзей.

– Бон суар, месье! – крикнул ему Фанерыч.

– Выпьешь чего-нибудь? – спросила Маша.

– Нет, – отмахнулся Свягин.

– Чем ты в последнее время занимался? – спросила она. – Что написал новенького?

Свягин терялся: «Имеет ли она право спрашивать такие вещи, с такой простотой и фамильярностью – у чужого? И... черт его знает, на что имею право я, кто мы друг другу?»

Вдруг Шура Фанерыч, лингвистический хулиган и словесный террорист, выпив залпом очередной стакан виски «Джонни Уокер», встал посреди собрания и рубанул сплеча:

– Люди! Народонаселение! Вот – Маша. А вот, так сказать, Свягин. А ну-ка, все прочие, живо выметайтесь отсюда. Колбасой!

– Что? – переспросил Свягин. – Шура, что? Что ты делаешь, я не понял.

– Тут и понимать нечего! – рявкнул звукорежиссер. – Тебе помогаю! Друг ты мне или нет? А ну-ка народ! Для кого непонятно, повторяю текст. Я живо пошел отсюда на хер, а всем балетным – следовать за мной! Кроме Маши, разумеется!

– Что это тебя так несет, душа моя? – изумился Свягин, озираясь на лица людей, которые непостижимым для него образом оказались все как один готовыми к такому повороту событий и, кажется, только и ждали какого-нибудь сигнала, чтоб теперь сняться всем колхозом и уйти. Все встали разом и торопливо начали собираться.

– Да, занесло чуток, занесло, – говорил Шура, – ну да что уж теперь поделаешь, ладно, пардон. Больше не буду, – говорил он еще, похлопывая кого-то из гостей по плечу. – Это ты, что ли, учился с Машулей в одном училище? Тебе страшно повезло. Извини, брат, но – выметайся! Лучшее в этой жизни с тобой уже случилось. Майданов, а ты, видно, ждешь сольного приглашения на выход? Вот как встанет фонограмма на твоём номере в концерте! Смотри, у меня уже линию вышибает от перегрузки.

Гости ушли. Последним ушел грубиян Шура, хлопнув дверью.

Что же дальше? Нас учили, что искусство, это типическое в типических обстоятельствах. Нас учили, что любовь, это... Да только кто учил, тот сам дурак. Что такое любовь? «Коллега, это у них – пульс, но нам-то с вами лучше известно, что никакого пульса нет!» Дело не в пульсе. Любовь – это для посвященных. «Любовь так же проста и безусловна, как сознание и смерть, азот и уран». Любовь – вот ради чего был создан этот мир, и чем он жив, вот его основа и оправдание. Любовь – вот образ и подобие Божие. Любовь, а всё прочее – вторично.

Маша заплакала, обхватила Свягина тонкими руками, прижалась к нему всем телом. Она весила, как всегда, на удивление мало – ведь танцовщица по роду своих занятий и должна быть такой легкой, почти невесомой.

...Однако, слезы слезами, а пора было собираться дальше в дорогу.

3.

Потом они ехали ночью вместе в автобусе – мелькали огни пригородных селений, изредка останавливались на платных пропускных пунктах, – всё это был сон. Было бы правильной сказать, что их куда-то везли, неважно куда, зачем. Волна умиротворения и счастья захлестывала Свягина в соседстве со спящей красавицей. Иногда и он впадал в забытие, и тогда ему снились другие места и обстоятельства. Он в ужасе просыпался от сна, что едет один: «когда же она ушла?» – а тут же обнаруживалось, что Маша тихо спит рядом, на его плече, в соседнем кресле. Боже, и это было самое лучшее открытие, превышающее все внезапные обретения на этом свете. Ей было прохладно, она ежилась. Иногда Свягин, путая явь и сон, порывался немедленно сказать Маше что-нибудь, неизменно важное, чем можно было раз и навсегда поправить все прошлые нелепости и закрепить это нынешнее счастье прежде, чем Маша снова неожиданно исчезнет. «Но нет, – спохватывался он, – лучше пусть так. Лучше не придумаешь». Маша ежилась. Свягин укрывал ее мягким автобусным клетчатый пледом, осторожно, нежно, ни у кого не учась, впервые, как не укрывал и ту Машу, которая еще не была потеряна. Что же такое любовь? Когда ты тихо целуешь спящую красавицу, боясь разбудить и касаясь губами только волос, это вовсе не рецепто-

ры и не химическая реакция. Маша спала, прижавшись к Свяигину, согревшись. Что такое любовь? Это что-то безусловное, как уран и азот, но вовсе не химическая реакция. Это – Красноярск, это – «подобное притягивает подобное», это волна умиротворения и счастья. С тобой твое дело. В тебя – моя вера. Что такое любовь?

Мы-то лучше знаем.

И мимо окон все также мелькали огни и какие-то тени, в которых едва и все менее отчетливо различались одни только контуры спящих селений, и неважным было – кто они, где они, но были они отстраненным одним наблюдением, и фоном, и сном, и обманом усталого зренья. Но что-то и в том угасании, без сомнения, таилось во всей полноте, и наверняка не без помощи Провиденья; ведь счастье не знает градаций, количеств – мол, здесь у нас боле, здесь – менее, оно абсолютно, оно – как уран и азот, как умиротворенье. Оно, как азот и уран, любовь и уран, любовь, и любовь.

4.

По приезде на место, утром, администрация собрала коллектив в фойе гостиницы, и Игорь Глебович объявил:

– Товарищи! То есть, простите, я хотел сказать, господа! Минуточку внимания. Наши дальнейшие планы определились, и они таковы. Спектакль, стоявший под вопросом, отменяется, и вопрос, так сказать, снимается. Артистам предоставляется двухдневный отдых, а техническая команда...

– Ура-а! – было реакцией большинства, ибо ежедневные непрекращающиеся спектакли даже балетному существу рано или поздно надоедают.

– Не радуйтесь так откровенно. Вы на работе. Это не значит, что ваш класс не состоится. На эти два дня заказана студия в полчаса езды отсюда. А техническая команда...

– Ну, ну, – похолодел Свяигин, вытягиваясь всем телом к говорящему поближе, – что: «техническая команда»?

– А команда техников получает свой микроавтобус и переезжает в Лион, где занимается монтировкой и светом следующего планового спектакля. Вынужден сообщить, господа, что на лионской площадке условий почти никаких, но нет худа без добра. Вся нужная аппаратура и помощники уже заказаны – вы с французами приступаете к работе уже сегодня в ночь, а сейчас у вас есть сорок минут на сборы. Думаю, принять душ и перекусить успеете.

– М-м-мда! – сказал Казимирыч, планы которого на двухдневный отдых «не стрельнули». – Ч-черт, надо так надо. Вот же черт!

– Но... Как же так? – глупо улыбался Свяигин. – Да с какого рожна? – он не мог это выразить словами, подобрать слов. – Кому это нужно? В какой еще такой Лион? Зачем Лион? Что нам за дело до Лиона? Как это, Маша? – ты остаешься, а я должен сейчас ехать в какой-то непонятный Лион? Что это за бред?

Свяигин вдруг вспомнил: да, действительно, когда бы не отмена, у них через два дня по бумажке значился переезд именно в Лион, на следующий спектакль. Но это было еще до возвращения Маши, когда никакие отмены-замены для Свяигина ровным счетом ничего не значили. Но теперь?

Маша ничего не говорила, глядя на Свяигина широко раскрытыми глазами и сжав в ниточку тонкие губы. Они стояли друг против друга. Вдруг из уголков глаз ее побежали слезы. Народ вокруг них, чтобы не участвовать в неловкости,

стал расходиться, оставляя этих двоих в круге как бы разреженного пространства, вакууме.

– Годунова, идите на место, – вдруг сказал Игорь Глебович.

– На какое место? – возразила Маша, с непривычными ее образу истеричными нотками. – Мы что, на сцене? Нет тут у меня никакого места.

– Хочу вам напомнить, Годунова, – раздраженно повысил голос чиновник, – что вас недавно утвердили на одну из ведущих ролей в новом сезоне. В ваших интересах выполнять все распоряжения руководства беспрекословно.

– Это потом, – пробормотала Маша, – еще не скоро. В новом сезоне. Да-да, не скоро. Сейчас у меня другие обстоятельства.

Игоря Глебовича при этих словах перекосило.

– Годунова! – чиновник был явно до крайности раздражен таким оппортунизмом; очевидно, что с подобным ему приходилось сталкиваться нечасто. – Другие обстоятельства? По-моему, у вас с головой какие-то другие обстоятельства. А кто подписывал с нами контракт? У артистов балета, смею напомнить, одним из первых пунктов в контракте записано – «быть лояльным к руководству»! Боюсь вас расстроить, но вы нарушаете контракт! Ваши слова и действия назвать лояльностью у меня бы язык не повернулся, – сыпал чиновник штампами. – Идите, не мешайте Свягину!

И, конечно, произошло ожидаемое. Маша опустила голову и, потоптавшись, послушно отошла. Все увидели, что это стоило ей нечеловеческих сил, последних; она готова была упасть в обморок, ей было плохо – уже очевидно, без всякого обмана. Свягин же продолжал стоять как вкопанный, находясь в состоянии ступора. Игорь Глебович, будь он мало-мальски психологом, мог бы вывести ситуацию хотя бы на иллюзию некоего примирения – подчиненная ему работница смирилась, и Свягину можно было бы предложить принять ее сторону. Он мог бы, как это водится у чинуш, сконструировать ситуацию, при которой сам является жертвой каких-то вышестоящих сил, перед произволом которых им всем следовало бы если не объединиться, то хотя бы быть на одной стороне, и тем свести все возможные противостояния на нет. Но Игорь Глебович совершил ошибку победителя, которому нужно добить противника. Ему по инерции, на волне победы над Машей, захотелось сломать и Свягина.

– Свягин, к вам мои слова тоже относятся! – пошел он в бой. – Предлагаю вам продолжить заниматься своим прямым делом! Вам что-то неясно? Я неясно выражаюсь, Свягин? Идите в номер собирать вещи, у вас не так много времени!

– Он с вами контракт не подписывал, – примирительно сказал Шура Фанерыч, пытаясь вывести Свягина из этого диалога с очевидным осознанием, чем это общение может закончиться. – И в любви к вам в письменном виде не клялся. И вообще, чего вы к Свягину-то прицепились? Он вам что, родной? Стишок такой, Игорь Глебович, слышали? Что ты ржешь, мой конь ретивый, не грызешь своих? От Свягина-то отстаньте.

– Вы мне тут будете еще указывать! – рассвирепел чиновник, и вдруг неожиданно его прорвало окончательно. Он побагровел, сжал кулаки и затопал ногами на Шуру. – Пошел вон отсюда! Ты у меня сейчас...

И тогда произошло то, на что Игорь Глебович не рассчитывал. Свягин, как бы очнувшись, сгреб Игоря Глебовича за грудки, притянул к себе и прорычал неожиданно громко и страшно, прямо ему в лицо:

– А ты, бл., такую лояльность видел? – он толчком отстранил от себя чиновника, резко размахнулся, отведя для удара сжатый кулак назад (неважным было,

что кисть еще не полностью зажила), однако у Игоря Глебовича, как у бывшего балетного артиста, миг сработала реакция подчинения – он упал на четвереньки перед Свягиным и сжался всем телом.

– Голливуд! – радостно воскликнул Фанерыч. – Но нет, все-таки, скорее, Шекспир! Я себя чувствую убитым Меркуцио! Короче, должен вам прямо сказать, господа: чума на оба ваших дома, я из-за вас, так сказать, стал пищей для червей! Я умер, а тебе, мой друг, бежать!

Игорь Глебович, не вставая с четверенек, развернулся лицом к толпе невольных зрителей этой сцены и заголосил иступленно:

– Случай настолько серьезный, что разбираться и выносить решение по нему будем в Москве!

«Что же это? – час спустя думал Свягин, вихрем проносясь по бану в микроавтобусе с соратниками, – моя любовь, мое величайшее проявление свободной воли – зависит от способа зарабатывания денег, который я выбрал? От нужд работы, от оснащенной всякой сраной площадки, от плодов заседаний и совещаний администраторов, этих шлепков коровьих? И я, вольный стрелок, поэт, «человек на подошвах из ветра», человек, который за вас увидит то, чего вы не видите никогда сами, и всё за вас доделает и доскажет, – не могу ни взять с собой Маши, ни остаться с Машей самому? И это теперь, и это в такую минуту? И кто-то за нас решает, что нам делать и куда ехать? «Сорок минут на сборы»! Или фашистские танки подходят к Лиону? Или уже светопреставление началось? Я – не могу остаться, я – должен ехать работать? И зрители принимают такую жертву!»

Свягин тупо глядел в окно. Рядом посапывал Фанерыч, дулся на Свягина завпост Казимирыч. Подобные срочные срывы назывались у техников «выездом на закрытие амбразуры своими телами», или, сокращенно, «выездом на амбразуру». Такое не раз бывало и прежде, вот только нужда быть с артистами вместе – так явно не возникала прежде.

«Стоп, стоп, не торопись, Свягин, – думал наш герой, – не горячись так. Ничего еще не пропало, всё будет. Магия, везение – еще не кончились. А если и они бессильны, обратимся к геометрии. Это же всё просто, как геометрическая задачка. Дано: мы любим, всё складывается в нашу пользу, и только два дня будут не наши. Требуется: ждать эти два дня, любить и ждать. Эта прослойка воздуха, нас по-сволочному, обидно разделяющая, вскоре начнет убывать, сокращаться. И Маша из пункта «А» безусловно приедет в пункт «Б»! Мы знаем это наверняка, лучше, чем кто-либо. Мы-то это знаем, мы знаем это. Я так люблю тебя».

5.

Два дня прошли в какой-то неукротимой тоске, нескончаемом ожидании. Наконец, на сцену техникам позвонил Игорь Глебович, сообщив, что балет приехал в лионский отель, но вечерний класс готовить не нужно, так как артисты будут заниматься в одной из городских балетных студий. «Проклятая Франция с их идиотским «высоким уровнем», с их удобствами и сервисом! – взорвался Свягин. – Первый раз в жизни класс на сцене мне бы *не помешал*, и на тебе, опять обокрали!

Он не мог дождаться приезда автобуса с артистами к началу спектакля, но за полчаса до открытия занавеса световой компьютер сбил программу, и Свягин, проклиная всё на свете, до последней минуты лихорадочно помогал художнику по свету набирать ручки, записывая новую. Первый акт он работал на водящем

луче, программу второго акта, разумеется, записывали в антракте. Не имея ни малейшей возможности появиться на сцене, Свягин ко всем сюрпризам нынешнего дня получил и новый подарок – по внутренней связи администратор предупредил артистов (Свягин слышал это объявление в наушниках, по интеркому):

– Господа артисты! После окончания спектакля никто не разгримировывается, а только переодевается. Водитель автобуса отказывается ждать по причине выработки положенного времени за счет сегодняшнего переезда в Лион. Прошу всех быть в автобусе максимально быстро, в течение двух-трех минут после закрытия занавеса; что такое требования местных профсоюзов и местные штрафы, надеюсь, объяснять не нужно.

Артисты уезжали без техников. Когда занавес закрылся, Свягин выключил свой юниспот и, сшибая аппараты, стал пробираться по переходным мостикам осветительского козырька к выходу. Кубарем скатился он с винтовой лестницы. Ему предстояло миновать еще зрительское фойе, но встречный людской поток задержал его. К лифту тоже было не подступиться, и Свягин побежал в обход, по служебным коридорам, натываясь на закрытые двери, плуруя и безуспешно пытаясь отыскать лестницу, которая привела бы его вниз, на уровень сцены. Как бы ни ждала его Маша до последнего, но по времени уже выходило отправление автобуса; Свягин же всё еще плутал, неистово матерясь.

В отель техники вернулись под утро. Свягин по-английски спросил у ночного портье, в каком номере остановилась мисс Годунова. Тот, помучив компьютер, выдал справку. Запасшись этим знанием впрок и решив подождать еще пару-тройку часов, Свягин поднялся к себе и через минуту уже спал как убитый.

Утреннее солнце припекло всю, не по-осеннему жарко. Свягин вскочил, как полоумный. Маши в ее номере не оказалось, телефон тоже не отвечал. Артистов увезли в восемь, в другой отель, сказал портье, они здесь только переночевали.

Нужно это сломать, остановить, – чуть не лихорадило Свягина. – Мне перестало везти, но это же геометрическая задачка. Дано: были, уехали, но она рядом. Требуется: найти ее. Даже когда мы были порознь, судьба сталкивала нас. А теперь какой-то посторонний человек, портье, знает о Маше больше моего. Найти ее, хотя бы найти! Условия меняются, и задачка все сложнее. Свягин, волнуясь, попросил портье показать на карте местоположение нового Машиного отеля. На всякий случай поинтересовался, не спрашивал ли кто его. Но нет, никто не спрашивал.

«Всё-таки несправимо это балетное племя! – в сердцах ругался он. – Они же учат французский – поголовно! Двоешники, ч-чёрт, даже на пальцах объясниться, и то не могут! Только – на полупальцах! Ну, хоть станцевала бы ему послание ко мне!»

Он летел по улицам, как очумелый, потом поймал такси. По расписанию, сделанному рукой завтруппой и приколотому к отельному стенду, выходило, что артисты уже уехали на репетицию в театр. Свягин хотел было узнать Машин номер, да отложил эту затею за явной бесполезностью знания, до встречи с Машей. Техников вызывали на сцену к двенадцати, Свягин примчался в театр на час раньше.

– Здравствуйте, потусторонние девушки, – обратился он к виллисам, – я пришел разделить вашу славу. А где Маша?

– Привет, Сереж. А она тебе что, сама не сказала?

– Что не сказала? – едва не взвыл Свягин.

– А она сегодня в отеле осталась, я думала, ты знаешь, – удивленно сообщила Эльвира. – У нее что-то с ногой, то ли икра, то ли голеностоп. Два дня – никаких хождений. Я ее сегодня заменяю в тройке.

– Черт возьми, да что же это такое? Я уже в отель не успеваю. Какой у нее телефон? («Машина – икра. Машин – голеностоп»).

– А я знаю? Мы только утром вещи побросали в отеле и сразу сюда, блин, как кони какие-то. Еще и не расселялись толком. Годунова уж точно до нашего отъезда номер не получала, нас пропускала. Да ты не переживай так, вечером у портье узнаешь, ему наш мудила, Глебыч, списки отдал.

– Какой портье? Я с ней не увижусь теперь.

– Сережа, не смейся мои пуанты. У нас два дня впереди выходных, а потом три дня съемки ролика, пять дней спектаклей не будет.

Но Свягин знал, что говорил. Ночью после спектакля техников на микроавтобусе увезли в Монпелье, отдыхать до следующего полудня и – на новую площадку. Впрочем, хоть до полудня, хоть до полуночи, хоть до черта лысого, хоть до его бабушки, – значения особого это уже не имело. Коллектив артистов задерживался еще на пять дней, два из них отдыхая в Лионе, а три – снимаясь в рекламном ролике в Версале, в знаменитом дворце. Свягин был не рад, что и на белый свет родился. Странно – дни впереди предвиделись, а сегодняшних не хватало.

...В Монпелье они встретились на классе. Слышались звуки рояля, артисты занимались у станка.

– Возьми мой свитер, – сказал Свягин. – Здесь прохладно.

– Спасибо, у меня свой есть, – улыбнулась Маша, – но мне и не холодно.

– Да, хочешь шоколадку? – спросил Свягин.

– Сережа, ну... Сережа, мне нужно работать!

– Упустил, – сказал Свягин, грустно усмехнувшись. Он отошел в сторону, наигранно, в круговом движении, широко, театрально расставил руки в стороны, как бы призывая невидимых собеседников в свидетели. – Упустил все-таки, твою мать. Отдал работе.

Эпилог

Вскоре театр прекратил свое существование, удушенный экономическими преобразованиями того периода. Труппу распустили. Два раза Свягин еще встречался с Машей, но разговора не получилось. Чтобы прекратить эту карусель искушений, Маша вышла замуж за Майданова, оправдав все прежние автобусные пророчества Свягина о его любимой девушке с такой фамилией («Поздравь меня», – позвонила она попрощаться. – «Поздравляю, – сказал Свягин. – Э-эх, теперь не скоро будем вместе»).

Больше они никогда не виделись.

Прошло время. Свягин работал в одном из московских драматических театров. Шестого января, в канун Рождества, вечером – он с приятелями, закончив монтировку спектакля, сидел в театральном буфете.

Вдруг кометой влетел один из осветителей.

– Ну что, сидим, братцы, кофеек попиваем?! – радостно крикнул он.

– Ну. Чего ты орешь, как резаный?

– А новость никакую не знаем, да? Кофеек попиваем, покуриваем?
– Ну, говори, говори. Что случилось-то?
– А вы спектакль вечерний собрали? – тянул тот резину.
– Ну, собрали.
– А теперь, – радостно захлебываясь, выпалил пришедший, – разбирайте на хрен! К едреней фене!
– Что, как? – заволновались техники.
– Спектакль – отменили! Всё! Разбираем, и по домам! К столу! Больше тут ничего не будет!

Крики «Ура!», «Да ты гонишь!» и «Качать, качать!» сотрясли стены буфета. Это было неслыханно, было сенсацией, подарком к Рождеству.

Толпа высыпала на сцену. Верховые от радости сразу свалили вниз три плана кулис, да поспешили – мешала жесткая декорация. «Ура-а! К столу, к столу!» – «Бери штанкет наверх, жопа! Уносите рундуки из-под кулис!» – «А-а, братцы, лафа!» – «Больше ничего не будет!» – «К столу!»

Через пятнадцать минут сцена была пуста, будто и не бывало только что стоявших тут: леса, замка в нем и дальней панорамы с холмами. Валялись гнутые гвозди, веревки, щепки – этот мусор завтра уберут. Погасили свет, остались лишь тусклые дежурные софиты.

Больше ничего не будет, ура. Больше ничего не будет.

Свиягина ждали в гости друзья, радостно изумившись столь раннему его появлению. И Свиягин тоже радовался – он еще издали, с улицы услышал смех, увидел огни в окнах. Елка была убрана переливающейся мишурой, цветными лампами, шарами. И он уже сидел против елки, и отвечал на водопад вопросов. Было шумно, а за окном тихо падал снег, хлопьями, классический, как во все года, то есть, конечно, как в детстве. И дети друзей и хозяев совали Свиягину книжки, он ведь был гость новопришедший. «Почитай, почитай!», – шумели дети. «Во-первых, «прочитай» или «прочи», а во-вторых поиграйте лучше вон, у елки, – отшучивался Свиягин, понимая, что является последней надеждой детей, а все прочие взрослые мерзавцы уже успели отказаться. – Хоровод какой-нибудь поведите!». – «Почитай, почитай!». – «Лучше почитай, иначе не отстанут!», – лукаво говорила хозяйка в переднике и с дымящимся пирогом в руках.

Он читал детям, и сам испытывал наслаждение, как бы переживая собственное детство заново. И минута была подходящей, канун Рождества, и всё сошлось, все собрались, близкие и дорогие. И шел снег. И вот как быстро пронеслось детство, думал Свиягин, и вроде вчера только, а нет, уже и давно это было. И сказки завораживали его, как ребенка, и от Андерсена щемило сердце, и подкатывал комок к горлу:

«Оловянный солдатик стоял в пламени, его охватил ужасный жар, но был ли то огонь или любовь – он не знал. Краска с него совсем сошла, и никто не мог бы сказать, отчего – от путешествия или от горя. Он смотрел на маленькую танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но по-прежнему держался стойко, не выпуская из рук ружья. Вдруг дверь в комнату распахнулась, танцовщицу подхватило ветром, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатiku, вспыхнула разом – и нет ее. А оловянный солдатик *стаял* в комочек, и наутро горничная, выгребая золу, нашла вместо солдатика лишь оловянное сердечко. А от танцовщицы

осталась одна только блёстка, и была она обгорелая и черная, словно уголь».

Жизнь не оставляла больше никаких надежд на хороший исход этой истории. Но Свягин читал строки Андерсена детям и впервые понимал, что любая горечь, как телу в виде лекарств, так и душе в виде этой самой метафизической горечи – всегда дается для исцеления. И ему, Сергею Свягину, предстояло еще все это пережить, чтобы двигаться дальше.

1997, редакция 2008 г.

Примечания к тексту:

В сцене знакомства героев использованы даустишья Б. Влашко.

Первая публикация повести: альманах «Остров» № 6, 1997, Берлин.